Священник Иоанн Белюстин

Описание сельского духовенства

Оглавление

Вступление с.2

Первоначальное образование с.3

- 1. Квартиры с.3*
- 2. Училища с.4*
- 3. Училищные начальства и учителя с.6*
- 4. Учение с.10*

Семинарское образование с.16

Сельские иереи с.31

- 1. Поступление на место с.31*
- 2. Быт семейный с.33*
- 3. Средства к жизни с.39*
- 4. Отношение сельского иерея: с.45*
 - а) К прихожанам-помещикам и крестьянам с.45*
 - б) К причту с.51*
 - в) К благочинным с.58*
 - г) К правлениям и консистории с.62*
 - д) К Епархиальным архиереям с.64*
 - е) К раскольникам с.69*
- 5. Сельские иереи, как проповедники в городских соборах с.72*

Награды с.74

Заключение с.79

Дополнения с.81

Иереи уездных городов с.81

Еще несколько слов о семинарском образовании с.83

Жалованье иереям с.84

Необходимое объяснение с.89

В 1858 году за границей вышел номер журнала «Русский заграничный сборник» с анонимным сочинением «Описание сельского духовенства». В четырех частях этого труда затрагивались острые вопросы церковной жизни середины XIX века. Автор последовательно вскрыл язвы системы духовного образования, обрисовал убогую жизнь сельского духовенства, рассказал об издевательствах церковного начальства и чиновников. Вскоре сочинение было переведено на французский и немецкий языки. Автором нашумевшего исследования был калязинский священник Иоанн Белюстин (1819—1890).

Предлагаемая вашему вниманию книга в основном расшифрована редакцией «Ахиллы» с бумажной версии, орфография и пунктуация приведены в соответствие с современным правописанием. Книга публикуется с незначительными сокращениями.

Вступление

«Кто проверяет путь человека, будет иметь больше благодати, чем тот, кто говорит приятное» (Притч. 28:23)

(...) Грустно и больно смотреть, до чего унижено и подавлено у нас сельское духовенство, и тем более грустно и больно, что само оно некоторым образом подало и подает повод к этому и не имеет даже права сказать в утешение себе: вся терпим Христа ради. Не так оно держит себя, чтобы возбуждать в других всё необходимое благоговение к служению своему, высокому и пренебесному, чтобы возрождать в пасомых им искреннюю, сердечную расположенность к себе и ту любовь, крепкую яко смерть, которая неразрывно соединяла бы его с паствою в одном общем стремлении — к цели горнего звания.

Где причина этого? В чем зло?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы проследим жизнь сельского иерея с детства. Это не будет слишком издалека: в жизни действительной человека лишь развивается то, что посеяно, когда он приготавлился или его приготавливали к этой жизни; и то, что так глубоко унизило сельское духовенство, есть неизбежное последствие его образования. Конечно, и после такого образования человек, поставленный в иных условиях мог бы сделаться совершенно иным; но условия, в которых поставлено сельское духовенство, именно как будто нарочно придуманы, чтобы зло росло, развивалось и приносило свои горькие плоды.

Выскажем, не обвиняясь, всю правду, но лишь одну правду: и да востыжит нас Господь на суде своем страшном, если мы осмелимся сказать хоть одно слово лжи.

Первоначальное образование

1. Квартиры

(...) Мальчику приходит время учиться, и вот его привезли в уездный или губернский город. Прежде всего ему нужна квартира.

Весьма немного таких священников (из ста — два-три, не больше), которые имеют средства поставить сына на квартиру к хорошему чиновнику, купцу и надежному священнику; бóльшая часть ищет квартиры возможно дешевле и особенно, когда у священника уже учатся два-три сына, что не редкость. Где ж эти квартиры? У мещанина-полунищего, отставного солдата, вдовы, промышляющей Бог знает чем и как, причетника (городской причетник всегда равняется мещанину-полунищему). И под надзор и хранение этому люду вручается мальчик восьми-девяти лет! Что ж он видит в своей квартире? Отвратительную нищету, неразлучные спутники которой: грязь, грубость до зверства, самые страшные пороки, которых даже и не считают нужным скрывать. И вот первые впечатления мальчика — первые, которые, по свидетельству всех опытных людей, остаются неизгладимыми! Еще, если б только видел: нет, его заставляют быть орудием и даже участником разных мерзостей: посылают в кабаки за водкой, воровать щеп или дров, когда печь истопить нечем, и пр. Больше — его поставляют в необходимость самому прибегать к разным проделкам. Так, истребив для себя в две-три недели всё, что было привезено мальчику на целую треть, они кормят его хлебом и щами, на которые и смотреть страшно. Что делать ему, всегда голодному? Если он робок, то в одну треть делается скелетом, если смел, то ворует или промышляет подобными средствами.

Не дальше как прошедшей зимой в городе X. мы видели следующее: часов в шесть вечера, — а это было в декабрьские лютые морозы, на паперти одной церкви ученик лет десяти страшно трясется от холоду и громко плачет. — Что с тобой? О чем ты плачешь? — Боюсь идти на квартиру. — Отчего? — Да хозяйка утром послала за водкой, а уж пора была идти в класс, я и ушел; пришел обедать, она меня исколотила, прогнала и сказала, что вечером еще и не то будет. — Отправляемся к хозяйке; то была вдова подъячего, лет еще очень молодых, но упившаяся сильно. Объясняться с человеком в таком состоянии, и особенно с пьяной бабой было невозможно, и мы сочли

лучшим объяснить все инспектору. Что ж? На все наши объяснения и просьбы, чтобы он избавил мальчиков от такой губительной жизни, он ответил только: не ваше дело, не суйтесь туда, где вас не спрашивают. По собранным после сведениям оказалось, что эта, с утра до ночи пьяная, баба состоит под особенным покровительством инспектора, и что мальчики ставятся к ней по его личному приказанию и не иначе, как дети очень достаточных отцов. И несчастных мальчиков у нее квартирует шестеро! — Подобные случаи — дело самое обыкновенное во всех губернских городах.

Приезжает мальчик домой, и родители не узнают его, — так он изменился физически и нравственно. Переводят на другую квартиру — и только из одного омота перетаскивают в другой. Если прибавим к этому, что мальчики почти всегда страдают от накожных болезней и что даже иногда заражаются такими болезнями, о которых даже и говорить срамно и страшно, то можно будет составить ясное понятие о квартирах учеников духовных училищ.

От всех этих язв, физических и нравственных, не спасаются и те, которые стоят на лучших квартирах: они заражаются от зараженных уже товарищей и имеют лишь то преимущество, что для них берутся хоть какие-нибудь средства против этого, и зло не развивается так быстро и неудержимо.

И вот под какими погубительными влияниями проводят мальчики целых шесть лучших и важнейших лет своей жизни! Правда, время от времени берут их домой родители; но что самые любящие, самые умные родители успеют сделать каких-нибудь в две и даже шесть недель? Успеют залечить какую-нибудь болезнь физическую, не более, а язву нравственную, которая развивается годами, не вырвешь днями. Притом мальчики, пользуясь губительными примерами, скоро приобретают навык скрывать язвы нравственные. Конечно, и в этом, как и во всем, есть исключения; но как исключения они редки: нужна слишком счастливая организация мальчика, чтобы не увлечься дурными примерами, которые всегда у него перед глазами, а много ли найдется таких мальчиков?

Скажут: «Есть училищное начальство, которое должно смотреть за всем этим». Должно, конечно, но едва ли где больше забывается и смелее пренебрегается должное, чем у тех, которым вверена какая-либо власть среди духовенства. Квартиры — это оброчная статья смотрителя и инспектора училищ. Взявши тем или другим с хозяина или хозяйки, затем они предоставляют им полную волю и свободу над мальчиками.

2. Училища

Еще не так заразительно действовала бы на мальчика грязь и всё дурное, всё растлевающее душу на квартире, если б всему этому было противодействие в училище. Но нет, к ничем не поправимому несчастью, в училище он не видит ничего доброго: та же грязь, такие же лица, враждебные ему, лишь в другой форме, поразительно страшные беспорядки различного рода и вида.

Что такое здания училищные? По большей части трудно было бы угадать, для чего эти здания тому, кто видит их в первый раз. Это не казармы, не конюшни, не хлевы, — нет, хуже всего этого. Большею частью это еле держащиеся, при бесчисленных подпорках, остатки чего-то в незапамятные времена строенного, в которых ветер гуляет со всей свободой, куда проникает дождь самый небольшой, где накапливаются целые сугробы снегу. А если, что однако ж чрезвычайная редкость, стены целы и даже крепки и сквозь них не проникает дождь, то все-таки ученикам немногим лучше и в таком училище. Мыть или мести полы считается самой непростительной роскошью; а на случай приезда архиерея их посыпают песком да можжухой — и только. Топить училища, хоть, без сомнения, на это отпускаются нужные суммы, не считают нужным, если б даже зимы были так жестоки, как, например, в прошедшем году. Училищные комнаты до того тесны, что ученики буквально сидят в тисках. Зимой наошнанный на ногах снег и занесенный метелями от спершегося воздуха растаивает, на полу образуется грязь, и весь класс делается болотом. И в таких-то зданиях учится юношество, из которого впоследствии должны быть иереи и даже архиереи! (...)

Из грязных квартир переходят ученики в еще более грязные классы. Но там, в квартирах, по крайней мере тепло; здесь же им нужно кутаться в две-три одежды, чтобы не замерзнуть. И что же? Когда все усядутся, и воздух сопрется, делается нестерпимо душно; между тем как ноги, неизбежно погруженные в болото, зябнут до того, что наконец совсем коченеют; и по окончании класса видишь, что ученики идут точно на костылях. Но как же переносят всё это ученики? Со здоровьем от природы слабым гибнут, со здоровьем крепким отделяются горячками или другими болезнями. Могут этому не поверить. Но пусть посмотрят уездные училища в губерниях Московской, Ярославской, Тверской, Владимирской (о других не знаем, а в этих состоянии училищ нам хорошо известно) и поверят. (...)

В декабре прошедшего года морозы доходили до 30 градусов. В городе N. училище (каменное) во всю зиму не протопилось ни разу. Следствие этого: в одном декабре умерло до 30 учеников; целую треть их спасли лишь тем, что

успели взять вовремя по домам; две трети получили цингу. В настоящую зиму тоже.

Неужели духовное начальство не принимает никаких средств к улучшениям? Нельзя сказать этого: упадет потолок, оно распорядится поставить подпорку; рухнет пол, оно прикажет сделать новый перевод; покачнутся стены, тут поставят три или четыре подпорки.

О, как грустно, как больно, невыносимо больно делается, когда вспомнишь о действиях высшего духовенства в иных землях и сравнишь его с нашим! У наших — ни малейшей заботы об образовании даже того сословия, во главе которого стоят они сами, с которым неразрывно, хотя и противоестественно, соединены они! Вались училище, им и дела нет; не то, чтобы пожертвовать из собственности, которая Бог знает, идет куда, даже и похлопотать-то о необходимых улучшениях не хотят! И то сказать: чужих детей не жалко, если б их дети учились в духовных училищах, — без сомнения не допустили бы они до того, что теперь есть.

3. Училищные начальства и учителя

С содроганием сердца приступаем к изображению этих лиц, которым безусловно, безгранично родители передают своих детей, — лучшее, что есть у них в жизни. Нечто несодееянное, неслыханное, невообразимое, но между тем до последней буквы справедливое, — сему свидетель сам Господь, — расскажем мы.

Прежде всего, — у нас назначаются в учителя не те ученики, которые выкажут более способностей к педагогическим занятиям, или более знакомы с теми предметами, которые им нужно преподавать; а те, которые имеют случай и деньги, или те, которые в списке учеников занимают высшее место. О первых нечего говорить, и последние занимают высшие места не за знание тех предметов, которые нужны в училище, а за успехи, преимущественно в богословии, так что нередко хорошо успевший в этом предмете, по-гречески с трудом может даже и читать. И что же? При назначении кончившего курс ученика в учителя на это не обращается ни малейшего внимания. Чтобы поступить в гражданское уездное училище, кроме полного гимназического курса, требуется выдержать экзамен преимущественно из того предмета, на который кто хочет поступить, и даже теперь экзамен в Университете. У нас — нет ничего подобного: ученик просится в учителя, нередко и не обозначая, куда и на какой предмет, и его определяют, куда и как придется, не спрашивая даже из любопытства, имеет ли он какое-нибудь понятие об этом предмете. Результат такого распоряжения понятен: большинство учителей в

духовных училищах состоят из глубочайших невежд; после нескольких лет преподавания едва знакомы они с начатками преподаваемого предмета. Еще это зло могло бы несколько поправляться, если бы учителя не всегда оставались учителями: сколько нужда, столько же и долголетняя практика сколько-нибудь ознакомили бы их с делом; а то каждый смотрит, как бы скорее выйти во священника, и не считает нужным заняться усиленно своим предметом, зная, что там — на месте он для него совершенно бесполезен. И действительно, прослужит он лет пять и даже десять без малейшей пользы для учеников и — выходит; его место занимает такой же ученик с такими же познаниями и с такими же целями, и так идет вся история училищного учения.

Одну способность только показывает большая часть учителей — обирать деньги. Зло это всюду пустило глубокие корни; но нигде оно не обнаруживается так небоязненно, так нагло, с такими страшными притязаниями, как в духовных училищах, в духовных правлениях и консисториях. Приводят мальчика в училище; отец должен его явить смотрителю и пятерым учителям. Явить — значит принести деньги. При этом случае от беднейшего причетника требуется не менее двух рублей серебром смотрителю, и не менее рубля на каждого учителя. Священник должен представить вчетверо или по крайней мере втрое. Мы сказали: требуется и должен; так — тут не произвол их, и не средства, которыми они могут располагать, определяют сумму взноса, а воля того, к кому приносятся деньги. И напрасны тут просьбы, напрасны даже слезы: кто стоит на одном, что не в силах дать требуемого, тот выгоняется в толчки; а что последует за тем, увидим дальше. Та же история повторяется после святок, после Пасхи, после ваканта, — непрерывно во все продолжение курса. Но зачем же дают? Затем, что горе тому мальчику, отец которого когда-либо не выплатил назначенного: месть жестокая, неумолимая, зверская преследует его с утра до ночи на каждом шагу!

Истязаниям несчастного, — и каким истязаниям! нет ни конца, ни меры. Скажем одно: в один и тот же день от двоих учителей ученику случается вытерпеть до 200 розог, самых беспощадных, потому что учитель стоит тут же и кричит: больше, больше! Секущий из учеников хорошо знает, что за малейшее послабление ему грозит тоже казнь, и потому напрягает все силы удовлетворить учителя. И этого мало: ученика, едва ставшего с полу, учитель хлещет рукой и ногой, чем пришлось, по ушам, по голове, по щекам, вырывает у него целые клоchyя волос и пр., и пр. И это на неделе повторяется два-три раза. Жаловаться смотрителю ученики не смеют и думать; за

жалобой неизбежно следует наказание от смотрителя — не палачу-учителю, а тому же ученику. В деле грабежа они действуют общими силами и поддерживают один другого. И кому же эти казни? Мальчику от 8 до 14 лет! Тут нисколько не помогают ни добрые успехи, ни прекрасное поведение; отъявленный негодяй пользуется и лаской, и приветом от всех, если отец его и поит смотрителя с учителями до упаду и тащит им всего — от денег до яиц — обильно; прекраснейший мальчик, но сын бедного отца, засекается — именно засекается. Не дальше, как два года назад, в N училище двенадцатилетнего мальчика, таким образом наказанного не за вину, а за то, что отец его не привел учителю корову, которой тот требовал, принесли на руках домой, и он на другой же день помер. И это дело нередкое. Почему же несчастный отец не жаловался? И почему не жалуются вообще на разбой и грабеж учителей и смотрителей? Скажем дальше.

И исчисленным поборам еще не конец. Это всё только по мелочам. Самый главный — при переводе из одного класса в другой, и особенно в семинарию. Вот, напр., как это делается. В 1855 году из... училища за месяц до экзаменов все ученики были разосланы по домам со строжайшим приказанием: принести по столько-то (смотритель сам назначал цену), с предостережением таковым: кто принесет меньше назначенного, тот будет оставлен, кто совсем не принесет, — будет исключен. Высшая цена (на долю многих священников) была назначена 50 р. сер., низшая (на долю беднейших причетников) 5 р. Что было делать отцам? Не представить назначенного — угроза исполнится без сомнения, и сыновей или исключат (а куда деться с мальчиком в такие лета!) или оставить в том классе, — а чего стоит пробыть лишних два года ученику (6-летнее обучение в училище делилось на 3 «класса» — по два года в каждом), не говоря уже о неизбежной мести. И некоторые, преимущественно отцы негодяев, поспешили исполнить требуемое. Большая же часть, особенно же те, которые решительно не имели возможности прислать назначенную сумму, или рассчитывали на то, что дети их вполне достойны перевода, явились к смотрителю. Здесь начались торги, и некоторым сделаны уступки. Те же, которые осмелились ничего не заплатить и даже пригрозить жалобой, выгнаны от смотрителя со срамом. Какой же конец? Дети первых переведены, дети последних или оставлены, или исключены.

Нашлись, однако же, которые в самом деле принесли жалобу семинарскому правлению. Что ж! Смотрителя вызвали для объяснения (объяснения! когда нужно было сделать строжайшее исследование!). (...) Как и что он объяснял,

неизвестно; но преспокойно возвратился в свой город и смелее прежнего продолжает свои действия.

Теперь о жалобах. Почему не жалуются? Вот, напр., отец засеченного мальчика приехал в город и в самом деле приготовил жалобу; но у него учатся еще два сына; принесши жалобу, нужно было бы сейчас же взять их из училища, иначе и им была бы не лучшая судьба; а он в своем-то городе едва может содержать их, — куда же бы он их дел? Подумал, поплакал, погоревал и отдал на суд Божий.

Вот, напр., лет тому десять, жестокости смотрителя и инспектора...ого училища сделались до того невыносимыми, что ученики стали бегать из училища. Принесли жалобу семинарскому правлению. Дело весьма важное; поехал исследовать сам ректор семинарии. Что ж он сделал? Провел целую неделю у смотрителя, не выходя из комнаты, а что делал, Бог знает. Затем явился в училище, пересек жесточайшим образом учеников и донес, что ученики взбунтовались и что он прекратил бунт. Взбунтовались мальчики от 8 до 14 лет! даже и отцы которых, под жесточайшей тиранией, при миллионах несправедливостей, не смеют и помыслить о чем-либо подобном!.. Случилось даже однажды, что профессор, посланный в...рское училище, честно произвел следствие и обнаружил все мерзости смотрителя и учителей. Что ж вышло из этого? Смотритель поспешил побывать у ректора семинарии, у письмоводителя архиерея — велено переследовать. Понятно, что новое следствие вполне оправдало виновных. Следователя вытеснили из семинарии с дурным аттестатом. Кто ж осмелится после этого производить следствие строго-справедливо? К чему уже, значит, и жалобы? И еще ли после этого спросят: почему не жалуются?

Предположим даже, что жалоба, принесена академическому правлению, что приехал произвести исследование честнейший и благороднейший человек, и что (самое важное условие) он может, не опасаясь дурных для себя последствий, открыть правду. Что он будет делать? Допрашивать учеников? Но разве не сумеют заранее запугать мальчиков? Разве осмелятся они, при официальном допросе, высказать что-либо, еще не зная, что не останутся у них смотритель и учителя те же? Разве осмелятся даже отцы их, при таком же допросе, высказать что-либо, вполне убежденные, что за это достанется детям их, если не в училище, так в семинарии. (На наших глазах было: профессор риторики — теперь кафедральный протоиерей — жесточайшим образом гнал весьма хорошего ученика единственно за то, что отец его обличал смотрителя в утайке и хищении жалованья бедным ученикам; не

проходило почти класса, чтобы не обращался к ученику со словами: «а отец твой такой кляузник, доносы пишет; значит и ты такой же негодяй, такой же гад, такой же разбойник» и прочее, что срамно писать; наконец добился-таки что этого ученика исключили); а еще может достаться и им самим. Но предположим наконец, что все осмелились, а виновные наказаны; что же? Явятся другие и будут продолжать то же, как и во всех других училищах, ни на волос не изменят своих действий, рассчитывая, что не всякий же раз будут жаловаться, и не всякий раз будут приезжать подобные следователи.

Нет, никакая частная жалоба не поправит дела!

А пусть бы если не во все, то хоть бы в бóльшую часть училищ были назначены ревизоры, и — светские, всенепременно светские, преимущественно из недавно кончивших курс университета; пусть бы они пожили в городе недели две-три, отнюдь не объявляя, кто они, расспрашивали учеников в квартирах, на улицах; пусть бы после этого заглянули раз пять в училище во все времена дня, особенно до классов и в конце классов, одевшись как можно хуже (*condition, sine qua non*); пусть бы внимательно всмотрелись во все — от физиономии учителей до их обращения с учениками, до их способа преподавания; пусть бы, наконец, как простые путешественники, побывали по селам и порасспросили отцов виденных, или учеников о том, каково учиться их детям и как ведутся дела в училищах; пусть бы только это сделалось!..

О, тогда бы увидели бы и узнали бы все, что такое наши училища! Тогда до последней буквы оправдалось бы все сказанное нами; дальше, — тогда узнали бы и то, чего и сказать мы не осмелились!..

Тогда и только тогда, изучив в основании зло, можно бы вырвать его с корнем. До тех же пор, что бы не делали, все по пустому; до тех пор самые благие распоряжения не принесут никакой пользы.

4. Учение

Скажем сначала — чему, а потом — как учат в духовных училищах.

Главный и важнейший предмет учения, на который обращается исключительное внимание, — латинский язык. Корнелий Непот (римский писатель (100–27 до н. э.) — мерило умственных способностей и успехов учеников; и сколько усилий, сколько истязаний, чтобы вбить в головы учеников этого вечного кошмара их; сколькими слезами, и какими слезами обливается он каждый курс!

Странное и непонятное явление, возможное только в образовании русского духовенства: во главу образования сельского иерея ставится язык мертвый, который для действительной его жизни будет столько же полезен, как и язык санскритский! Чтобы быть добрым пастырем, прежде всего надобно быть латинистом; без этого ему никогда не бывать пастырем, потому что без знания, в настоящее время совершенно ничтожного и поверхностного, — латыни его никогда не переведут из училища в семинарию!

Целые шесть лет мальчик убивает свои способности на изучение языка, который забудет в первые же два года своего священства, потому что всю свою жизнь ему не придется встретиться ни с одной буквой этого языка! Понятно было бы, если б его учили с таким же вниманием славянским наречиям, — это было бы прекрасным подготовлением для его будущего служения. Обладая знанием этих наречий, он не становился бы в тупик перед мужиком-начетчиком при его вопросах; понятно было бы, если б его заставили изучать Четью-Минею: каждый урок был бы для него материалом будущих беседований с прихожанами, не говоря уже о том, какое благодетельное влияние произвело бы это изучение на юную душу сердце; а то заставляют забивать голову каким-нибудь Алкивиадом, Кимоном и т. п., да еще на языке чуждом! Чего ждать от такого образования, в основание которого кладется совершенно бесполезная для сельского иерея латынь? Да и можно ли назвать это образованием?

Скажут: но знание латинского языка необходимо тем, которые впоследствии должны поступить в академию. Так, но много ли поступающих в академию? Обыкновенно: из ста 2–5 человек; а прямо в епархиальное ведомство поступает 70–80 человек. С которой же цифрой должна бы сообразовываться программа образования? Без сомнения, с последней; а между тем на деле наоборот. Значит для целых 30 человек шесть важнейших лет пропадают решительно даром и для действительной жизни не готовят ничего полезного.

Говорят: изучение языков развивает мыслящую способность и прочее вроде этого. Положим, что это правда; но уж конечно не пошрое, нелепое, мертвое изучение, каково в духовных училищах.

А почему ж бы не изучать языки немецкий, французский или английский? Знание этих языков было бы вдвойне полезно сельскому священнику: любознательный имел бы под руками средства продолжить свое образование и на месте; потому что в каждом уезде найдется два-три помещика, у которых есть библиотека из книг того или другого языка.

Имеющий нужду в средствах жизни, — а какой священник не имеет нужды? — мог бы приобретать их путем чистым и честным, — именно давать уроки в домах помещиков. И кроме личной пользы для священников, какая бесконечная польза вытекала бы из этих уроков для самого их служения! Ими они сблизилась бы с помещиками и имели бы непрерывное благое влияние на их быт семейный, так глубоко растлившись в последнее время, посредством их они воспитали бы и новое дворянское поколение в духе строго православном, не то что какие-нибудь выходцы с Запада, всегда посевающие в воспитываемых ими презрение ко всему русскому вообще и к Православию в особенности.

«Но в семинариях преподаются языки немецкий и французский». О, лучше бы совсем не преподавать, чем так преподавать!.. При том языки немецкий и французский нужно преподавать с самых юных лет, чтобы это послужило к чему-нибудь. Но о преподавании их скажем в другом месте.

Второй предмет, который также считается главным, хотя и не так важным, как латынь, язык греческий. Не говоря уже о том, что он везде без исключения преподается весьма дурно (положительно и смело говорим, что ни один учитель этого языка, на всем пространстве Руси, не имеет настолько знания в нем, чтобы понять и определить, чем отличается язык писаний преп. Макария Египетского от языка сочинений Златоустого; об Гомере, Гесиоде и т. п. мы уже и не говорим) — какая польза от него для будущего священника, если б он преподавался даже и как должно, и он изучил его в совершенстве? «Он может изучать Св. Писание на этом языке, читать творения греческих отцов церкви». А где, в каком селе найдется отцов церкви, так редких и дорогих, и говорить нечего, где найдется хоть одна буква этого языка? Нигде. Значит, и этот язык он учит единственно для того, чтобы забыть.

И для этого он не дожидается окончания семинарского курса, а спешит забыть его даже в семинарии. Для проверки сказанного пусть в любой семинарии спросят оканчивающих курс учеников, и вот окажется: из ста 5–10 могут едва сносно перевести что-либо из хрестоматии; 10–20 сумеют отличить одну часть речи от другой; остальные не в состоянии даже и читать книг — печати старинной.

Далее следует катехизис и Священная история. И вот то, что должно быть положено во главу угла всякого образования, занимает лишь третью степень, и где ж? В духовных училищах! Могут не поверить, да и в самом деле трудно поверить, что даже в семинариях на катехизис и Св. Историю смотрят как на

предметы весьма невысокого значения. Так они и преподаются в училищах. Всё дело ограничивается тем, что ученика заставляют зубрить и зубрить. Он зубрит, почти всегда не понимая того, что зубрит, и особенно текстов. Ни в душу же его, ни в сердце не проникают ни одна благодатная мысль, ни одно святое чувство, ни один высокий порыв. Он заучил, что должно и что не должно, но без всякого внутреннего сознания. В 13–14 лет он не умеет дать себе отчета, почему это должно, а это нет? Оттого, [что ему] давали работу только одной памяти, не обращая ни малейшего внимания на то, чтобы расшевелить его сердце, внедрить в него святые истины и увлечь на путь добра.

Далее — грамматика русская. Не говорим уже о величайшей нелепости, какая может допущена только в духовных училищах, считать мертвые языки главными предметами преподавания, а живой свой, родной, — чуть ли не последним. Грамматика русская у нас в жалком положении. Ученики зубрят правила, не понимая ни духа, ни механизма языка. От этого не только в училищах, даже в семинариях правописание — камень преткновения для многих. Что это не преувеличение, пусть проверят в любой семинарии, пусть прочтут какое-либо писание какого-либо сельского священника, который ограничил свое образование лишь тем, что получил в семинарии.

Прочие предметы, которые не считаются ни главными, ни даже второстепенными, а чем-то вроде дополнения, преподаются еще слабее.

Нотное пение, то дикое, антимузыкальное пение, которое услаждало наших предков в часы разгула, преподается с особенной заботливостью. Нет нужды, что бóльшая часть из того, над чем бьются ученики, уже не в употреблении не только в сельских, но даже и в самих монастырях; нет нужды, что взамен этого допотопного обихода правительство издало книги пения, так называемого придворного, этого простого, но приспособленного к духу нашего служения пения, которое одинаково поразительно хорошо, исполняется ли целым хором или одним причетником, лишь бы исполнялось верно, и поющие имели стройные, хорошо управляемые голоса. На пение придворное не обращается ни малейшего внимания, а убивают время на обиходы и октоихи.

Теперь скажем, как учат в духовных училищах. Мы заметили выше, что учеников заставляют зубрить; именно — всё училищное учение, по самой строгой справедливости, можно назвать наукой зубрения. Здесь не обращается ни малейшего внимания на способности ученика: «выучить от N до 14», — гласит учитель; а о том, для всех ли это возможно, у него и

помышления нет; а о том, чтобы облегчить как-нибудь труд того, кого Бог не наградил легко воспринимающей памятью, у него никогда заботы нет.

Приходит время отдавать уроки: немногие приготовили, бóльшая часть нет. Из неприготовивших одни сделали это от лени и шалости, другие от недостатка способностей. И что ж? Учитель не дает себе ни малейшего труда проверить действия учеников: и легче и удобнее наказать всех; и он наказывает на всей своей воле. Какое же следствие этого? Прилежный, но малоспособный, бичуемый одинаково с лентяем и шалуном, в свою очередь бросает все труды и делается лентяем. Не всё ли равно, думает он, быть наказанным, — пробьюсь ли всю ночь и не выучу, или вовсе не буду учить?

Таким образом, из мальчика, который при терпеливом, кротком и заботливом направлении своих способностей, мог бы сделаться хорошим учеником, делается неисправимым лентяем. Напрасно погибает в нем и то небольшое, что даровал ему Господь; погибает и всякая энергия к труду. Случается, и нередко, такие переводятся в семинарию и оканчивают курс; но все семинарские задачи работают для них другими; остальные восполняются приношениями отеческими. Вот почему не редкость видеть ученика семинарии в состоянии совершенного бездействия — телесного и душевного; он сидит или лежит в продолжении многих часов с полусонными глазами, без забот, тревог, дум; его не волнует и не шевелит ни тень мысли!

Далее почти целая половина училищного времени употребляется на так называемые конструкции. Что это за операции, считаем нужным пояснить. Диктуют сначала что-нибудь на русском языке, и потом над каждым словом назначают латинское или греческое слово в первоначальной его форме. Ученики должны грамматически изменить формы их, чтобы образовалась мысль соответственно с тем, что написано на русском языке. Цель всей этой операции — вероятно та, чтобы приучить ученика к переводам с русского на латинский и греческий языки. Но для чего же все это будущему иерею?

Положим, чего никогда не может быть, он совершенно успел в этом деле и прекрасно переводит на который либо язык; но какая же из этого польза для него? К чему и для чего ему это уменье? Что он переводить будет, и для кого, и для чего?

И вот, с невольною, невыносимою грустью должно сказать: когда все и везде движется вперед, мы одни стоим на той же точке, на которую поставили нас поляки, первые наши учителя. Не только предметы, которые они считали главными, и доселе у нас считаются такими же, даже метод преподавания сохранился неизменным; даже средства — заставить мальчика учиться, эти

убийственные для всякого успеха средства: страх и казни, — остались неизменными, несмотря на видимые преобразования духовных училищ. Преобразование — громкое слово; но что же преобразовано?

Введены некоторые предметы, которым не учились отцы и деды наши; классы вместо фарты, инфимы и проч. стали называться: высшее, среднее, низшее отделение; и только? — Да не обвиняясь скажем: только! Сделаны внешние, и то самые ничтожные преобразования; внутренне же его значение то же, что было в прошедшие века. Скажем больше: настоящее наше образование бесконечно ниже, ничтожнее того, какое получали отцы и деды наши: они знали хоть что-нибудь, но знали основательно; из училищ выходили прекрасные латинисты; теперь же, что знают основательно ученики училищ и семинарий? Ничего, ни даже латыни!

И вот ученик кончил училищный курс и так или иначе переходит в семинарию. Какой же запас вынес он из училища для действительной жизни? Никакого! Почти всё, на что он употребил шесть лет, ни к чему: всё учил он для того, чтобы скорее или медленнее забыть. Не убиты ли значит и всецело эти лучшие годы жизни? Ради чего ж он вытерпел столько наказаний, перенес столько мук, пролил столько слез? И еще, если б эти годы были только убиты, сгибли без пользы; нет, в течение их глубоко заронилось в юную, восприимчивую душу семя зла.

Что он видел постоянно в квартире своей? Грязь и порок. Что он видел в училище? Ту же грязь. Что видел в начальниках и учителях? Злых и жестоких наемников, единственная цель действий которых — грабеж, смелый, не преследуемый и не наказываемый; видел, что для учителя, часто нетрезвого, не существует ни закон, ни правда, ни совесть: что он безнаказанно казнит и милует, и что единственное средство избавиться от казней — давать деньги, как можно более денег или иного чего; — вот что неотступно перед глазами его было целых шесть лет!

Мудрено и взрослому продышать целых шесть лет в такой губительной атмосфере и не заразиться; чего же хотят ждать от мальчика? И весь страшно заражается он. Грубеет и искажается его нравственное чувство. Без отвращения смотрит он самый грубый разврат.

С ним безумно жестоки, — ожесточается и он; с его отца выжимают деньги, — выжимает и он, если только имеет возможность, если, например, он аудитор (или старший). Словом, в нем отражается всё дурное, что только было в квартирах и училище. И вот основной камень его образования, которое должно приготовить из него будущего учителя православной

церкви! Исключения встречаются, и после такого губительного начала вырастают добрые ученики, которых видно сам Господь хранит; но, к несчастью, такие исключения редки. О вы, слепые судьи чужих дел! Так беспощадно преследуете вы и насмешкой, и презрением несчастных иереев; но если б провести вас сквозь этот омут, что зовется нашим образованием, Бог знает, вышли ль бы вы чище, были ли бы вы лучше в жизни!..

Не поправит ли дела семинария? Не вырвет ли она зла с корнем? А вот увидим.

Семинарское образование

Цель всякого специального образования — приготовить достойных людей к тому или другому роду службы. Чем выше эта служба, тем строже должна быть обсуждена программа этого образования; в состав ее должно входить лишь то, что прямо ведет к предположенной цели, что самим делом из мальчика может сделать достойного деятеля на предположенном ему жизненном пути. Пусть такое образование будет далеко не энциклопедическое, что нужды? Было бы оно прочно, было бы оно так ведено и направлено, чтобы образующийся заранее всей душой и всем сердцем полюбил будущее свое дело, всем существом своим предался ему так, чтобы впоследствии ничто не могло отвлечь от него; пусть он заранее ознакомился бы со всеми сторонами своего дела: изучил бы те способы, которые вернее и надежнее могут вести к успеху, и доволен. Так образованный будет делателем полезным.

Что служение священническое настолько же выше служб гражданских, насколько небо выше земли, вечность выше временного. Против этого надеемся никто не станет спорить. Значит и программа образования тех, которые готовятся к этому служению, должна быть обсуждена строжайшим образом. В круг этого образования должно быть введено лишь то, чтобы приуготовить их — быть верными, ревностными и неукоснительными служителями Христа, провозвестниками Его спасительного учения и неусыпными стражами Его стада. Всё прочее может быть только допущено постольку, поскольку содействует главной цели.

Смотрим на программу семинарского образования, и что же видим? Богословие, философия, риторика, математика, физика, агрономия, медицина и пр., и пр. Что же, к чему готовятся изучающие всё это? Если б дать прочесть эту программу иностранцу, то он решительно стал бы в тупик, особенно когда бы увидел, что как на изучение богословия полагается два

года, так и философии, и риторики. Ясно, что из ученика семинарии хотят сделать немножко богослова, немножко философа, немножко ритора, агронома, медика. А что должно выходить по суду здравого смысла и по свидетельству опыта на самом деле? Да ровно ничего. В деле образования все немножко весьма близко граничат с ничем; и чем более этих немножко, как, напр., в семинариях, тем вернее сумма всего образования сложится в количество, близкое к нулю. Так и выходит из ученика семинарии ни богослов, ни философ, ни агроном, ни медик!.. Все преподаваемые науки смутно проносятся перед очами его неустоявшегося самосознания, потому что все преподаются лишь в общих, неопределенных чертах; в душе его не остается никакого живого чувства; в нем не рождается ни влечения, ни привязанности ни к одной науке, потому что он не ознакомился как должно ни с одной. Кажется, не разумная воля управляет всем его образованием, а слепая судьба; по крайней мере во весь семинарский курс ни один ученик не мог дать себе отчета, к чему готовится он? И по окончании курса он не имеет особенного влечения ни к чему: он готов быть священником, учителем, подьячим, — всем чем угодно. Что ж это за образование?

Но если нелепа и бессмысленна программа семинарского образования, то еще нелепее, еще бессмысленнее идет самое дело образования. Невольно думаешь, не устроено ли всё намеренно таким образом, чтобы из учеников семинарии приготовить полных невежд с огромными претензиями?

Начнем с начальников и наставников.

Главное лицо в семинарии, имеющее обширнейшее влияние на учеников, — ректор семинарии, всегда монах. Странность ничем не объяснимая: главным двигателем и наблюдателем над образованием юношества, большая часть которого предуготовляется в сельские иереи, назначается лицо, навсегда отчуждившееся от мира и всех его волнений, и всех требований, лицо, по крайней мере, по идее, умершее всему живущему в этой плачевной юдоли, что зовется земля. Он всегда магистр, т. е. ученый, — пусть даже ученейший муж; но что ж такая отвлеченная ученость для действительной жизни? Славнейшие мудрецы — разве не всегда дети в деле житейской мудрости? Где ж изучил ее, эту неуловимую никаким умом, а лишь познаваемую опытом мудрость он — магистр и даже доктор богословия? Не в стенах же академии и того или другого монастыря, где он начальник; да и не мог, если б хотел, изучить ее. Здесь в действительной жизни всё: и высочайший подвиг добра и порок во всей наготе своей, и ангелы Небесные и демоны преисподней, разве можно (т. е. позволено и должно) монаху окунуться в

этот омут? А если нельзя, то какое же понятие его об жизни? Еще если б большинство этого юношества предуготовлялось к жизни аскетической, тогда ректор-монах было бы явление понятное; а то — юношество, готовящееся на борьбу с плотью и кровию, с обязательною властью князя преднебесного и с миром, возле лежащим, — что узнает это юношество об верных и надежных средствах вести успешно эту борьбу из самых ученых, но лишь теоретических уроков своего ректора? Нет, руководителем образования будущих иереев должен быть сам иерей, не столько ученый, сколько искусившийся в жизни, сам испытавший всё, что ждет его учеников на будущем тяжком их поприще. Пусть не передает всех схоластических тонкостей богословия, но покажет многообразное, бесконечно различное, часто поразительно-резкое, еще чаще едва заметное, едва уловимое действие страстей человеческих; но научит работать против них: это неоценимый, ничем незаменимый даже огромнейшими курсами богословия запас для будущего иерея!

Мы уже не говорим о том, что ректор — монах, в годы самого страшного действия страстей в человеке, свободно располагающий своим временем и большими средствами, нередко примером своим убивает и то небольшое доброе, что успеет передать словом; не говорим до каких погибельных крайностей иногда доходит это... Пусть кому угодно и кому нужно пройдут из конца в конец Россию и внимательно прислушаются, что говорят об ректорах семинарий, — дивные вещи услышат, конечно, не везде, а во многих, многих местах!..

Наставники в семинарии большею частью магистры; несмотря на то, редко приносят они всю ту пользу делу образования, которую должны бы приносить. Причиной этого тот порядок, который ведется при назначении профессоров. Здесь не обращается ни малейшего внимания на способности их педагогические: кончил курс академии и достаточно — будь профессором, хотя бы в устной речи не умел связать двух слов толком. Кроме того, большею частью назначаются не на те предметы, в которых кто сильнее, а на первые, которые представляются незанятыми в какой-нибудь семинарии, хотя бы они об них не имели никакого понятия.

Словом, при назначении профессоров ни особенных испытаний, ни пробных лекций, как это в заведениях, а просто предоставляется на волю судьбы.

Знатока, напр., математики толкнула судьба в класс философии, которую он знает и понимает сколько и будущие его ученики, — и будь профессором-философом; с особенным успехом занимавшегося философией толкнула

судьба в класс математики, совершенно ему чуждой, и преподавай ее! Бывает и то: студент академии прошел весь курс и не вынес ничего; и что ж? И его посылают наставником на какой-нибудь предмет второстепенный; прослужит он года три-четыре, — видать, что нестерпимо — плохо преподает (плохо по-семинарски на общечеловеческом языке равняется чистейшему нулю), — его толкнут на другой предмет, там на третий; так и толкают до тех пор, пока он или выйдет во священника, или дослужится до пансиона...

После таких мудрых распоряжков, каково ж должно идти само преподавание? О, если б люди истинно образованные послушали, что и как преподается в семинариях!..

Не знаем, какое чувство сильнее овладело бы ими: смеха ли на эту жалкую и пошлую карикатуру образования; скорби ли об этом несчастном юношестве, Бог знает за что осужденных на неисходное невежество; негодования ли, что время и силы, и труд учеников гибнут решительно даром; отвращения ли к монахам, которые, забравши всё в свои руки, целию всех своих действий имеют деньги и удовлетворение своих страстей — от тщеславия и до..., а о благе вверенных им помышляют менее, чем о каком-нибудь кауром... Но знаем, что хладнокровно они не в состоянии были бы оставить семинарию, узнавши каково там преподавание; так хорошо, усердно, плодотворно, завлекательно оно все — от богословия до еврейского языка включительно.

Возьмем, напр., богословие, эту науку из наук, важнейшее из знаний человеческих, краеугольный камень его образования, его жизни. Холодно, безучастно, безжизненно читает профессор свою лекцию — какой-нибудь отрывок из записок академических — или перевод с грехом пополам из какого-нибудь германского и лютеранского богослова. Холодно и безучастно слушают ее [семинаристы] и не знают, как дожидаться конца. Профессор приказывает ее заучить; худо или хорошо ее заучивают. Тем и всё дело оканчивается. Следовательно, заставляют работать лишь память, а о том, чтобы учение божественное и спасительное взволновало всю душу, неизгладимо врезалось в сердце, претворилось в плоть и кровь учеников, о том и не помышляют. Какие же следствия этого? Ученики и на богословие смотрят как и на всякую другую науку, т. е. как на тяжелое бремя, от которого не знают, как избавиться. Заученное они помнят только пока в семинарии; прожили год-другой на месте — и всё забыто, и ни одного догмата не сумеют они объяснить удовлетворительно, и о целом курсе богословия у них сохраняется темное воспоминание, что вот N.N. читал что-то.

Самое нравственное богословие также лишь заучивается и нисколько не прилагается к жизни; сухо и мертво говорят: обязанности к Богу такие-то, к ближнему такие-то; говорят так, как сказали бы: была Семирамида, жил Астиаг, до которых никому дела нет. От этого ученик, выслушавший утром лекцию о неделании чего-либо, вечером делает именно это самое. Попался, его спешат наказать, не взявши на себя ни малейшего труда пробудить в нем сознание в черноте своего поступка, и объяснить ему все губительные последствия подобных поступков в жизни. И наказанный жалеет не о том, что сделал дурное, а о том, что не сумел скрыть сделанного. И привыкает хитрить, лгать и обманывать всеми средствами и мерами. Скажут: «Это преувеличено; есть ученики прекраснейшей нравственности». Да, бывают, из ста человек другой-третий, но не семинарскому образованию обязаны они тем, а или тому, что к счастью воспитываются на глазах отца, или природному влечению к добру. — Преувеличено? Нет, не скажет этого тот, кто сам прошел семинарский курс, и кто хочет сказать правду перед Богом и совестью. От архиерея до последнего инспектора семинарии — у всех забота одна, чтобы ученики трепетали перед ними, а чтобы приобрести их доверенность, любовь, детскую покорность, чтобы ученики с полной откровенностью открывали свою душу перед ними, как перед любимыми родителями, о том ни у кого никогда не бывает помысла. Вследствие этого каждый поступок ученика неизбежно влечет за собой казнь, если он обнаружен, а чтобы разобрать, взвесить значение этого поступка, чтобы определить — намеренный он или нет, развращенное ли сердце или увлечение неопытной молодости причина его, и сообразно с этим одному назначить физическое наказание, для другого удовольствоваться строгим выговором перед товарищами, или отеческим советом в кабинете, — это дело небывалое в семинариях. «Казни всех беспощадно, лучше будут бояться» — вот система семинарского управления. А кому неизвестно, что последнее дело — страхом казней останавливать человека от злых проступков? Нет, пробудите в нем любовь к добру, влечение к чистой жизни, и — он будет добр, и чиста будет жизнь его среди всех искушений и соблазнов. (...)

Возьмем философию. Смешно и горько видеть, что и как преподается в семинариях под этим громким названием. Не заставляют учеников путем собственного мышления искать истину; нет, а заставляют учить, еще иногда на латинском языке, какую-нибудь нелепейшую компиляцию из quasi-философов XVII и XVIII вв., компиляцию, сделанную без толку, без смысла, из десяти разных авторов, бесконечно различных между собою, каким-нибудь

самодельным философом-профессором. И бьются несчастные ученики над изучением этой бестолковой и бесцельной мудрости; заучив, бойко отвечает и на экзаменах, а в существе дела не в состоянии дать себе отчета, что это он делает и для чего. Не вдумывался он сам ни во что, потому что его заставляли учить и учить; учить букву, а не смысл, до того, что если он в ответ одну фразу заменял другою, равносильною, то профессор с тетрадкою в руке сейчас же останавливал и приказывал отвечать как написано. И ничто не оставалось в голове его; и на всю эту науку, даже среди самого курса ее он смотрел как на что-то темное, непроницаемое, где нет Божьего света.

Говорить ли о преподавании других наук? Кажется, нет нужды. Если так преподаются те, которые считаются главными, то понятно, как должны преподаваться второстепенные. И ученики или совсем не ходят на эти классы и убивают время на квартирах за картами, или занимаются романами, и преспокойно, не обращая ни малейшего внимания на профессора, развращают душу свою чтением какого-нибудь нелепейшего произведения французской школы.

Скажем по несколько слов о недавно введенных агрономии и медицине.

Прекрасна, по-видимому, цель, с которою введена агрономия; священник будет сам земледельцем; не рутинным, а ученым, свое звание передаст и прихожанам, — и процветет хозяйство как его самого, так и всей его паствы, на что лучше! И преподаватели уже везде ученые — воспитанники образцовых земледельческих школ. Пусть они везде не делают ничего, и вся эта наука в презрении у самого начальства; пусть ни один из окончивших семинарский курс не сумеет отличить одной почвы от другой — мергеля от гипса; нет нужды, была бы введена наука, и пусть она идет, как судьбе угодно. Но предположим, что судьба распорядилась именно так, что эта наука пошла прекрасно; в самом ли деле прекрасна цель, с которою введена она? И может ли быть она достигнута, т. е. священник будет агрономом образуемым для своих прихожан? Чтобы ответить на эти вопросы, мы предложим еще несколько вопросов. К чему готовится большинство учеников в семинарии? Не к тому ли, чтобы быть иереями в селах и городах? Конечно, да. И не желает ли начальство, чтобы эти ученики впоследствии были иереями не по имени только, а самым делом, т. е. ревностно, неусыпно заботились о спасении душ как своих, так и тех, которые вверены их пастве? Без сомнения, да. А если так, то неужели не знают, что священнику, на руках которого бывает от тысячи до двух с половиною и более душ мужского и женского пола, немного уже остается времени от главного дела на какие бы

то ни было посторонние дела? Что мы сказали: немного остается времени? Да если священник понимает, как должно, что за каждую душу нужно будет дать строжайший отчет, то он найдет, что двадцати четырех часов в сутки ему мало для того, чтобы — одних оберегать от соблазнов, других укреплять в вере и добре, — словом, вести всех к цели горнего звания: до агрономии ли тут? И пойдет ли она в голову, когда — тут нужно совершать служения, с необходимыми приготовлениями к ним, тут приготовить поучение, тут с пособиями, и вещественными, и духовными посетить болящего, тут приготовить к страшной минуте умирающего, тут примирить ссорящихся; словом, каждую минуту быть всем вся, без чего он не будет иереем достойным. Помещику и управляющему возможно и должно быть агрономами — это главная цель их жизни, но священнику, настоящему, а не так называемому только, невозможно. «Но владеют же теперь священники землями и обделывают их». К величайшему несчастью, да. Какие следствия этого, будет сказано на своем месте. Одно может быть только допущено, и то не как дело, а как отдых от дела — садоводство. Значит, и прекрасно преподанная агрономия в действительной жизни сельского иерея — ни к чему. Предположим однако же и то, чего не может быть на деле, что священник имеет и время, и страсть быть агрономом, да где ж у него средства для этого? А каким-нибудь чудом нашлись средства, так его полосы лежат среди полос причета; он бы хотел ввести что-нибудь новое и лучшее, так они не хотят, или не могут, тут что делать? И видя, и сознавая все дурное в своем хозяйстве, он не в состоянии изменить ничего; и ведет его, как вели отцы и деды, т. е. пересыпает из пустого в порожнее. К чему же было и учить его? Предвидим и еще возражение: «не все ученики поступят в иереи, не нашедшие места могут поступить в управляющие». Но в основание этого можно бы ввести и еще сотню других наук: могут поступить туда и туда; да только теперь из-за стольких наук ученики не усваивают себе ни одной, ни даже главной; а тогда разве бы совсем с ума свели.

Не то нужно бы сделать: учеников лишек сравнительно с местами и желают обеспечить будущую судьбу их, так пусть сделают строжайшую сортировку: одних оставят в семинарии и готовят их, но уже, собственно, в иереи, других отправят в земледельческие школы. (...)

Теперь об медицине. Вот наука, которая должна идти в семинариях об руку с главным предметом, и которая известна только по имени, хотя и введена в курс наук семинарских. Спаситель не только учил, но исцелял. Глубоко-знаменательный пример! И на чтобы лучше этого примера, чтобы образовать настоящего иерея? Так нет, нужно хитрить и мудрывать, нужно

ввести десятки наук, которые решительно не нужны ни для сельского иерея, ни для паствы его, и пренебрегать наукой, которая как нельзя более полезна для иерея. По селениям нет врачей; от этого там раздолье знахарям и ворожеям, этим губителям душ и тел несчастных крестьян, — губителей, достойным всех кар и козней; от этого там гибнут иногда сотнями от таких болезней, которые могли быть своевременными и умными мерами остановлены и прекращены. Правда, есть уездные врачи, но что один врач на сотни тысяч крестьян, из которых состоят уезды? Будь он усерден, деятелен, как только вообразить можно, — ему физически невозможно поспевать к больным во все концы уезда, который нередко раскинут на пространстве 300–500 верст. Но такой врач явление небывалое в уездных городах. Все эти господа своему делу предпочитают спокойствие, комфорт, нередко и чарку. Живя постоянно в городе, в селения они выезжают не иначе, как на следствия или к пациентам помещикам. Дело невиданное и неслыханное, чтобы врач решился поехать в дом крестьянина, хотя бы даже верст за пять от города. Даже в своем доме за осмотр, — всегда небрежный, неимоверно грубый, больному они назначают такое вознаграждение, которое уж никак не по силам крестьянам. А если прибавить к этому рецепт в два, три и более рублей с успехом весьма сомнительным, то можно будет понять, почему крестьяне боятся врача не менее всякой болезни, и соглашаются терпеть самые невыносимые страдания, а не обращаться за пособиями к врачу.

Чем поправить такое зло? Одно средство — сделать священника врачом, настоящим врачом, а не по имени только. Пусть сделают это, и сколько благих, спасительных последствий выйдет из этого для крестьян! Находясь всегда в кругу своей паствы, вовремя взять все нужные меры против недуга; а кому неизвестно, что это вовремя весьма часто спасает больного, и самыми ничтожными средствами? Это для паствы, а кроме того, сколько прекрасных и верных средств дадут ему для достижения главной цели его служения! Для врача тела всегда открыта душа болящего; при слабости организма душа доступнее всем впечатлениям, всем советам и убеждениям. И вот бы когда, врачую тело, священник насквозь бы проник и в душу пасомого, навсегда открыл бы в нее свободный доступ для себя, легко мог бы направить ее на путь спасения и неуклонно вести по нему. Вот бы когда, восстанавливая болящего с одра болезни, мог иногда потрясти всего внутреннего человека. А не во время машинальной, холодной, поспешной, безжизненной, как теперь, исповеди. Врач тела, и в одном и том же лице врач души, — Отец Небесный, сколько добра, сколько добра — чистого, высокого, могло бы

посевать это лице непрестанно вокруг себя! Благодарность, доверенность, и, наконец, любовь, — вот бы что соединяло пастыря с пасомыми; вот бы что лежало в основании всех сношений между ними, а не эта необходимость, против которой нередко возмущаются крестьяне, — необходимость повенчать свадьбу, похоронить покойника и т. п.

(...) Но возможно ли сделать это? О, весьма возможно, лишь бы захотели. Курс семинарский шесть лет; пусть уничтожат науки бесполезные и малополезные для сельского иерея — риторику, философию, математику, агрономию, языки; греческий и еврейский, историю — и всеобщую, и церковную, пусть сократят наполовину, — все равно не знают ничего, проходят ли ее по обширнейшим или по кратчайшим учебникам. И этого времени совершенно достаточно, чтобы пройти полный курс медицины со всеми привходящими к ней науками.

Но непреложным условием при этом должно быть следующее: профессеры должны быть назначаемы начальством академии медицинской с самым строгим разбором; как они, так и самое преподавание должны быть под самым непосредственным, строжайшим надзором университетов или академии, иначе все дело пойдет наыворот, не лучше теперешнего. Далее — ученики, окончившие курс, должны держать экзамены отнюдь не в семинариях, а в тех же университетах, чем и будут проверяться и знание дела, и усердие к нему профессеров. Против этого могут сказать: «не все же имеют средства добраться до столиц и прожить там несколько времени». А суммы в комитетах попечительства о бедных духовного звания на что скапливаются? Не лучше ли было бы употреблять их на подобные, бесконечно полезные дела? Наконец, в поощрение тех, получившим степень лекаря, давать лучшие места в епархиях. Могут сказать: «для всего этого нужны новые профессеры, нужен анатомический музей, а где средства?»

Все это нужно в первый раз и легко может устроиться, лишь бы захотели устроить. С уничтожением ненужных предметов уничтожатся и профессеры, теперь решительно даром получающие жалованье, их местами заступят профессеры медицины. А что до нужных аппаратов, то стоит подвергнуть строжайшему контролю суммы, назначаемые на семинарии, да и пострже смотреть за экономами, и в три, четыре года их можно приобрести все.

А не это, так собрать с церковей и монастырей. Наконец, если и не это, то из миллиона опытов видно, что наше правительство слишком щедро на жертвования, от которых может произойти прямая польза для

государства; нет сомнения, что оно никогда не откажет в пособии и в этом случае. (...)

Об языках французском и немецком, преподаваемых в семинариях, и говорить нечего. Их преподают профессора, не умеющие и читать, и оттого ученики решительно не занимаются ими. Значит, время, назначенное на преподавание их, пропадает совершенно даром. То же же должно сказать и об языке еврейском. Языками латинским и особенно греческим, ученики также не занимаются; и тут время попадает даром.

Тут даром, там даром, так сколько же времени, которое ученики употребляют с пользою для себя в семинарии? Удивятся, если скажем, что не больше двух часов в сутки. Но перестанут дивиться, когда мы прибавим, что профессора, которые знают, что их предметами не занимаются, — жалуют в класс на 15, много на 30 минут; да и это короткое время употребляют нередко на какие-нибудь пошлые разговоры, шутки и т. п. (...) Чем же занимаются ученики в такие продолжительные антракты? Пустейшей болтовней, чтением всякой гадости, какая под руку попала. (...)

Что для будущего сельского иерея семинария, т. е. насколько приготавливает его к великому делу пастырства, мы видели; теперь посмотрим, что для него квартиры. И для большей части учеников семинарии, как и училищ, квартиры — у беднейшего мещанина, солдата, вдовы и подьячего, т. е. люда весьма двусмысленной нравственности. Пусть они почти всегда занимают по двое, по трое и больше отдельные комнатки, но столкновения с хозяевами непрестанные, и влияние их на учеников неизбежно. Каково же должно быть влияние подобного человечества? Каковы должны быть последствия этого влияния на ученика, у которого еще в училище нравственное чувство притуплено, душа загрязнена, и весь он предрасположен к восприятию злого? Страшные и горькие последствия!

В семинарии лишь только переменяются роли между учениками и хозяевами против училищ: там ученики служили хозяевам, здесь хозяева служат ученикам. Видеть ученика за трубкой, картами, водкой — дело весьма обыкновенное; бывает и хуже, что и сказать нельзя. «Но неужели семинарское начальство не смотрит за этим?» — Нет, есть инспектор, помощники его и старшие. О старших и говорить нечего: те же ученики, и всегда первые гости на каждой пирушке. А инспектор и один или два его помощника — что же это на несколько сотен человек? Посетят они раз, два или три в неделю ученика, и обыкновенно вечером. Все прочее время, и особенно ночи, они на полной свободе. Нет, не взглянуть нужно на ученика

два-три раза, а не спускать с него глаз во все часы дня и ночи. А возможно ли это, когда ученики разбросаны по всем частям, улицам и переулкам города? Явно, нет. Следовательно, не на квартирах бы должны жить ученики семинарии; не в этих омутах, заразительных и погибельных, должны проводить свое время будущие иереи, от которых, для получения этого высшего и пренебесного сана, прежде всего требуется чистота тела, а в одном общем корпусе, под непрестанным и неусыпным надзором начальства. (...)

И почему бы тем, которые сами прошли этим путем, следовательно, не могут не знать, сколько зла от квартир, и которые сделались архиереями, почему бы им не озаботиться о постройке корпусов, где бы могли жить все ученики? Каждый отец с радостью платил бы за содержание сына в корпусе, лишь бы был уверен, что тут надзор бдителен и в содержании нет злоупотреблений. Квартиры — это такой неотступный кошмар и для родителей, который давит их ночью, не дает покоя и днем, боязнь естественная и понятная. Но и здесь, как и во всем, что нужно сделать доброго и полезного для духовенства, отговорка одна: «на устройство корпусов средств нет». Как! Когда правительство не щадит миллионов на улучшение быта духовенства, а вы говорите: «средств нет»? Да попытались ли вы объяснить Правительству все зло, всю гибель от квартир, всю необходимость воспитываться ученикам под одним общим надзором? Нет? Так как же, в оправдание своей непростительной беспечности, вы ссылаетесь на недостаток средств? Вот — неусыпному о благе всех подданных Правительству благоугодно было обеспечить сельское духовенство жалованьем: взошли ли вы в виды правительства? Ходатайствовались о том, что особенно нужно сельскому духовенству еще прежде жалования? Ничего подобного не сделано вами. Даже — кто бы поверил? — нашлись архипастыри, которые отвергли этот дар царев, осмелились пререкать намерению Помазанника Божия, намерению, Самим Богом внушенному, — извлечь жалко-несчастное духовенство из тьмы бедствий, нужды и всего, что так унизило и подавило их. «Сельскому духовенству не нужно жалованья», — изрекли они в своей мудрой и благонамеренной заботливости о пасомых. — «Не нужно жалованье», — т. е. сельское духовенство на веки вечные должно остаться в этом горьком, загнанном и безнадежном положении, в каком было доселе (этим вы навсегда хотите сохранить свою незаконную, нечестивую, ужасную власть над белым духовенством? Вы не хотите и знать, обеспечивая свою тиранию, что есть Судьяй земли?); чтобы иметь какие-нибудь средства жизни, вы осудили его навсегда прибегать к этим незаконным, постыдным,

преступным, презренным поборам с прихожан, что зовутся доходами, потому что иных средств нет. «Не нужно жалованье», — вы — одинокие, добровольно осудившие себя на лишения и монашескую скудость, давшие строгий обет — совершенного нестяжания, — заботливо собираете десятки и сотни тысяч доходов в год; этого мало; каждый монастырь для вас аренда; и кроме всего этого вы не пренебрегаете и жалованьем; а на что бы вам все это? На стол, на шелк, на бархат, на рясы из соболей, на обеспечение племянниц и чад их?.. (О, до чего все извратилось в Церкви православной! Сергей Преподобный, например, знавший дерюгу и крашенину, и тут же какой-нибудь N., чтобы не сказать выше, в десяти тысячной рясе!..)

А сельскому иерею, живущему домом, имеющему почти кстати, — не ветром навеянных племянниц, — а законное, Богом данное семейство в десять и более человек, воспитывающему два-три сына в семинарии, имеющему нужду отдать двух, трех и более дочерей в замужество — жалованье не нужно!.. Он должен довольствоваться какой-нибудь сотней рублей в год, и то собранных с нарушением — не говорим уже о законе и правде, — всех даже приличий! Нет, это не макиавеллизм только, а что-то такое до того злое, до того враждебное белому духовенству, до того гибельное для всей церкви, что мы и назвать не умеем...

Вот, если бы вы сказали, что прежде жалованья нужно перевоспитать духовенство, и кончить тем, с чего теперь начинается, тогда видно бы было, что желаете добра своим пасомым, заботитесь о благе Церкви.

Да, не с жалованья нужно начинать улучшения духовенства, а с радикального преобразования всего его быта и, главное, его образования. Без этого никакое жалованье не послужит ни к чему. Этого мало: при таком искаженном, погибельном образовании, какое теперь дается духовному юношеству, оно даже послужит во вред; в руках неумеющих пользоваться им оно будет тем же, что огонь или нож в руках ребенка. Пусть прежде жалованья устроят корпуса, где бы все ученики с детства и до окончания курса воспитывались на счет казенный под непрерывным надзором испытанных в чистоте жизни и благонамеренных наставников и начальников. Мы сказали: на счет казенный, потому что только этим может уравновеситься положение духовенства между собою, — без чего невозможны зависть и последствия ее; без этого, при всяком жалованьи, как и теперь, бездетный всегда будет богат, многосемейный будет бедствовать и страдать. С этого, повторяем, должно начаться улучшение духовенства, жалованьем же кончиться.

Скажем наконец несколько слов и об важном злоупотреблении, какое только может быть допущено при образовании юношества, готовящегося в иереи. Ученики семинарии обязаны ходить к литургии лишь только в дни воскресные и великих праздников. О, как из этого одного видно, что программа образования духовного юношества составлена не иереем Бога Вышнего!

Но вот курс учения кончен. Двенадцать, четырнадцать, а иногда и более, лет тяжких, тем более тяжких, что ученик занимался даже и главными предметами без охоты, без рвения и без увлечения, а по одной крайней необходимости... Следуют вопросы: что же он теперь? что в нем? куда направит он путь свой?

Не спрашивайте его самого, что он? Иначе вас неприятно поразит его ответ: — Я кончивший курс студент или ученик. — В звуках голоса, в манере физиономии он дает вам знать, что это не кто-нибудь, не простой человек, — кончивший курс. Да, нужно отдать честь семинарии: если мало доброго и дельного посева и развивает она, зато прекрасно умеет развить дурное в человеке. Семинарист без претензий — явление, едва ли виданное когда-нибудь. Самолюбие мелкое, пошлое, бессмысленное, и несмотря на то, обнаруживающееся слишком резко и угловато, — вот чем набит ученик семинарии, и особенно кончивший курс, с головы до пяток.

Как умеет семинария развить в таких страшных размерах такой погибельный порок, — это ее тайна, которой нам ни желания, ни нужды разгадывать нет. Скажем только, что это семинарское самолюбие, если ученик пойдет выше, переходит в дьявольскую гордость, в невыразимейший педантизм, в эгоизм — без пределов и меры; если он сделается иереем, и особенно в селе, то преобразует его в какое-то жалкое и смешное существо, от всех требующее себе почету и уважения без всяких прав на то и другое; не позволяющее, чтобы кто в его присутствии забывался, тогда как чаще всего оно забывается первое, существо раздражительное, неуступчивое, неуживчивое. Бывают исключения в том и другом случае; из семинаристов выходят прекраснейшие, благороднейшие люди (...); и в селах мелькают иереи, отрешившиеся от духа семинарщины; но эти исключения редки, незаметны в общей массе, и об них говорить нет нужды. Вообще семинариста можно сейчас заметить и в рясе, и в мундире, и при крестах и звездах: уж такой неизгладимый тип!..

Что в нем — разгадать очень нетрудно: стоит только завести с ним разговор дельный и заставить только высказаться, чтобы увидеть, что в нем

совершеннейшая пустота, отсутствие всякого положительного, вполне усвоенного знания. Случается, бойкий на слово засыплет словами; но напрасно вы захотели бы в потоке слов уловить мысль живую, сознанную, прочувствованную, — ничего подобного вы не заметите. Иначе и быть не может после такого образования, какое получил он в семинарии: в ней развивали лишь память и подавляли самомышление (с прямою целью: чем меньше мыслят, тем меньше рассуждают: чем меньше рассуждают, тем удобнее и спокойнее двигать ими, как пешками). Пока еще свежо в памяти, что зубрил он во время своего курса, он болтает без умолку, не умея, однако ж, дать себе никакого отчета в том, почему это так, а не иначе; от этого какой-нибудь пустой софизм сейчас же собьет его с толку; от этого на экзамене для поступления в Университет, он откажется описать, например, Кремль, и попросит назначить себе темой что-нибудь полегче, например, о бессмертии души. И для него, действительно, это легче: так еще недавно он зубрил лекцию о бессмертии души; стоит только перевести зубренное на бумагу и — рассуждение готово. А чтобы описать Кремль, нужно хоть сколько-нибудь самому мыслить, — этому-то он и не научился в семинарии; кроме того, нужно знать историю; историю он зубрил в риторике, и к окончанию курса успел вполне забыть ее. Да если бы заставили его описать и село, в котором он родился, и тут он стал бы в тупик и попросил бы темы полегче, например, об единении природ во Христе.

Куда направит он свой путь? Да этого он и сам не знает: так мудро и целесообразно устроено и ведено его образование! Естественно и ближе всего ему поступить в священники; пусть он не чувствует к этому званию никакого сердечного влечения, — но его отец, предки, родные — все служители Церкви на высшей или низшей степени, и он просится в какое-нибудь село в иереи. Удалось, делается иереем; не удалось, ищет путей побочных для достижения той же цели (какие это пути, сказано дальше); если не послужили они к чему, просится в учителя; не попал — также хладнокровно, также без всякого сердечного участия хлопочет о поступлении в подьячие... Словом, нет звания, к которому бы не решился прильнуть семинарист, лишь там он мог ожидать себе кусок хлеба. Следовательно, о какое страшное и горькое следствие! И в иереи он поступает «не ради Иисуса, а ради хлеба куса»...

Скажут: из семинаристов выходят ученейшие профессора, и даже университетов, государственные люди, примерные священники в столицах. Но пусть спросят всех таковых: семинарии ли они обязаны тем, что силы их развились и сделали их людьми; в семинарии ли они сознали свое

призвание и назначение? И если они хотят ответить по совести, то без малейшего сомнения ответят: нет, нет и нет!.. Судьба толкнула одного в университет; там обратил почему-либо на него внимание профессор, или попал он на уроки в богатый, образованный дом; его вытерли, вымыли, изгнали из него злого духа и семинарщину, и — пошел он в ход. А остался [бы] он при собственных средствах, с духом и направлением, полученным им в семинарии, и — погиб. Кинула его судьба в академию, сблизила с людьми благородными не по званию, а по духу жизни: с людьми благородно мыслящими, благородно действующими; взяли они на себя труд образовать его, — и вышел примерный священник; не случилось этого, — пусть он одолеет и академический курс, даже понахватается и науке, и займет лучшее место в столице, но только не на радость, славу и красу своему званию: он — или великий приобретатель денег, или ни с кем никогда ужиться не может; или бросила его судьба по окончании академического курса в канцелярию какого-нибудь вельможи: приглянулся он своему начальнику, тот взял его в железные руки, ввел под свой кров — для учения ли детей, для домашних занятий, и вот он впоследствии сам государственный человек, как граф Сперанский; не случилось этого, он погряз в своей семинарщине. Пожалуй, после невероятных трудов, он — и превосходительный; да только тяжело и жутко от такого превосходительного подчиненным... А пусть бы всех этих людей судьба толкнула в сельские иереи, и были бы они не лучше других. Ведь и теперь из числа выходящих в сельские иереи есть с огромнейшими духовными силами, неразвитыми, даже и непочатыми; и все эти силы гибнут в омуте жизни. Исключения только за теми, которые попадут в село, где есть помещик с настоящим образованием, тут священник спасен. Возьмется за него помещик, выбьет из него дурь семинарскую, пробудит его мыслящую способность, даст ему в руки свою библиотеку, — даст ему средства жизни, не богатые, но верные, при которых священнику нет нужды ни в грубых и грязных занятиях землей, ни в отвратительных поборах с прихожан, — сформируется образцовый священник. Но много ли таких помещиков? — Значит, и священников таких не может быть много; и об этом исключении, как очень редком, говорить нечего.

Что ж сказать вообще об образовании, которое получают ученики духовных училищ и семинарий? Мы видели, как оно бесцельно, нелепо, ничтожно; мы видели, как мало добра могут вынести ученики из училищ и семинарий, и как много выносят зла. Следовательно, имеем все право сказать: в училищах и семинариях всё и с самого основания должно быть изменено и преобразовано, если хотят, чтобы образование духовного юношества было

не одним образованием. По крайнему разумению, образовавшемуся вследствие долговременных наблюдений и крепких размышлений, мы сказали бы, каково должно быть это образование, да к чему? Кто послушает слов человека, идущего путем безвестным, горьким и страшно тернистым? Необходимость преобразования чувствуется, но новые проекты напишутся в кабинете человека громкого и славного, окруженного всем комфортом, для которого быт сельского иерея, требования и нужды его — темна вода в облацех воздушных. Введут новые науки, переменят учебники, а дух останется тот же, и всё пойдет по-старому. А еще чего доброго — семинарии соединят с гимназиями, вконец собьют с толку несчастное духовенство!.. Так и всегда и во всем: нужно преобразовать деревушку, — проекты об этом пишутся в изящнейших кабинетах, рассуждают об этом в великолепнейших залах, а саму деревушку и не спросят, что ей нужно; да и что спрашивать? Народ темный, и сам не понимает, что ему нужно... Не понимает!!! И приводят проекты в исполнение, а что выходит?

Сельские иереи

1. Поступление на место

О хорошем месте в епархии лучшему (лучшему по аттестату) студенту и мечтать нечего. Такие места обыкновенно раздаются племянницам архиерейским, а если их нет, то сволочи, окружающей архиерея. Жестко выразились мы, но как же иначе назвать архиерейских лакеев, келейников, письмоводителей, певчих? Что это за люд? Лакей — всегда выгнанный за беспутное поведение из училища или из семинарии, ученик, перебивавший в течение нескольких лет и сторожем где-нибудь и послушником, потом прибившийся к архиерейскому дому и втершийся, так или иначе, в лакеи. Если он окажет особенную способность на послуги, то возводится в звание келейника — с обширнейшим доверием. Письмоводитель — это наглейший, бессовестнейший, безжалостнейший подьячий, в сравнении с которым даже подьячие земских судов — агнцы. А певчие — это гнездо пьянства, разврата, буйства, это — вечные грабители церквей, монастырей и всего духовенства, неизмеримо бессовестные, ни в чем никогда не довольные; при объездах преосвященными епархий заезжающие во все села, и тут неистовствующие над священниками и старостами, нагло требующие водки и денег, сквернословящие не напоенные и еще более позволяющие себе напоенные; все это совершающие без малейшего опасения наказаний, потому что прикрываются мантией владыки. К ним всегда примыкают протодиакон и иподиаконы, которые отличаются от певчих лишь одной одеждой, а во всем

прочем — едино с ними. Как же назвать этот презреннейший люд, как не сволочью? И этому люду раздаются лучшие места! Этого мало: открывается хорошее место, один из таковых утверждает его за собою и потом передает брату, сестре, племяннице, или даже просто продает; такую продажу повторяет три-четыре раза, пока на стыд и позор званию, не сделается сам иереем.

Но и посредственное место студент может получить под одним условием — заплативши за него деньги. Прежде лет за двадцать зло это еще не слишком было сильно; но в последнее время оно развилось до невероятной степени. Поводом к этому было то, что сильно возросло [число] учеников, оканчивающих курс, и оттого на одно и то же место подают иногда человек по десяти и даже более. Из них место дается не тому, у кого лучше аттестат, а кто больше даст денег. Продают или письмоводитель архиерейский, всегда имеющий огромное влияние на архиерея, или келейник его, а иногда оба вместе. Чем лучше место, тем выше цена, возрастающая иногда до 200 рублей. Но еще не все сделано, когда заплачены деньги этим господам; нужно не менее отдать в консисторию: оттуда нужна справка с мнением; без платы подобные вещи не делаются; без удовлетворения всех — и членов, и секретаря, и подьячих в консистории мнение может послужить не в пользу.

Каково первое впечатление для будущего иерея? Некогда думать ему о том, к чему приступает он; не до того, чтобы настроить ум и сердце к восприятию чудной благодати; и думы, и заботы, и помышления об одном — денег! Денег! Где бы взять денег?

Чтобы не возвращаться к этому, скажем о дальнейших поборах при производстве в иереи: после посвящения он должен заплатить протоиерею, протодиакону, иподиакону, певчим, т. е. сейчас же, по принятии благодати, и тут же на месте посвящения, отбиваться деньгами и просьбами, нередко и бранью от целой стаи зверей самых хищных, самых ненасытных! Должен заплатить за указ в консисторию, за грамоту письмоводителю (кроме казенной цены), иначе его продержат месяцы; словом, он должен издержать от 60 (никак не менее) до 100 рублей серебром.

Где ж ученику или студенту, которые всегда нищие, взять столько денег? Он обыкновенно ищет себе, не имея в виду никакого места, невесту, т. е. собственно не невесту, а деньги с невестой, и хлопчет не о том, чтобы выбрать себе подругу жизни, а чтобы как можно больше найти денег. Приторговавшись к нескольким невестам, решается там, где дают больше, —

будь невеста со всеми недостатками, нравственными и даже физическими. Условившись, получает деньги и получает место.

Или: ищет поступить в дом. Это значит — ищет священника, который по старости ли, или попав под суд, должен оставить свое служение. Здесь не обращается ни малейшего внимания ни на достоинство невесты, ни на быт семейный ее родителей — можно ли спокойно и бестревожно жить с ее родителями. Главное — место, невеста же может быть вдвое старше жениха и глупа, и безобразна и т. п.

Если почему-либо он не устроит так дел своих, т. е. или не захочет взять деньги с невестой (что впрочем весьма редко), или будет думать, что ему дают еще мало (что весьма обыкновенно), то будь он два раза студент (получивший по окончании семинарии аттестат первого разряда и звание студента) и подавай на каждое место, несмотря на это лет пять-десять пробудет без места. И вот почему ученики второго разряда, которые ценят себя много дешевле студентов, и особенно третьего, которые при денежной оценке себя опускаются еще ниже второразрядных, скорее находят себе места, чем студенты, т. е. по епархии расходуется то, что и в семинарии было худшего. А студенты после многих бесполезных попыток выходят или в учителя, или в подьячие.

Скажем кстати о том, по сколько обыкновенно берется денег за невестами. В губерниях Московской, Ярославской, Тверской и Владимирской, весьма близко нам известных, ученику, могущему поступить в сельские иереи, дается 500–1000 рублей серебром, кроме приданого. От этого женами сельских иереев делаются лишь дочери богатых священников, дьяконов, или даже причетников (получивших наследство от какого-нибудь монаха и т. п.). Как приобрели они богатство: трудом честным и благородным или бессовестными поборами, преступными притязаниями прихожан, и даже проделками и никак непростительными (например, благочинные грабя церкви и пр.), на это не обращается никакого внимания. Дочери же честных, но бедных и многосемейных священников, или остаются девицами или выходят замуж за причетников, подьячих и прочий погибельный люд. Будь они красавицы собой, прекрасной нравственности, воспитанные в страхе Божиим, от нужд и лишений, в которых выросли, кроткие, терпеливые, домовитые, — всё это ни к чему.

2. Быт семейный

И вот бывший ученик семинарии — сельский иерей. Он вошел в дом или на праздное место. Посмотрим на того и другого в их семейном быту. Считаем

нужным сказать, что мы описываем большинство, а отнюдь не всех. Найдется и лучше? и выше того, что мы скажем, но такого найдется очень немного; найдется и хуже, и такого немало. Поэтому на исключения мы не будем указывать, как в этом, так и в следующих отделениях.

Ученик принимается в дом. Не свободная воля располагает той и другой стороной — принимающей и вступающей в дом, а крайность. С одной стороны: перезрелая невеста или потеря по суду места заставляют быть не слишком разборчивыми в женихах, принимают не лучшего в умственном и нравственном отношениях, а возможно дешевле; с другой: необходимость иметь кров и пищу заставляют соглашаться на самые тяжкие условия: вступать в семейство многочисленное, иногда явно беспорядочное, и вдобавок ко всему — брать себе в жену какого-нибудь урода, если не физического, то нравственного. Последствия такой погубительной сделки обнаруживаются слишком скоро. Не успеет дешевлеший сделаться иереем, как уже на деле доказывает справедливость поговорки «дешевое гнило», и даже на первых порах не умеет скрыть своего нравственного растления. Всегда начинается с условий: принявшие требуют буквального исполнения их, вступивший сначала не может, а потом и не хочет исполнять. И вот возникли ссоры — соблазнительные, потому что ссорятся два иерея и так близкие между собою, ссоры переходят в непримиримую вражду, за нею — судьба и раздел. Одно лицо, которое могло бы быть миротворцем между той и другой стороной, — жена молодого иерея — большей частью раздувает только пламя. Не по взаимному сердечному влечению вступили они в брак, и потому она не имеет ни малейшего влияния на мужа и не в состоянии ни уговорить, ни успокоить его, если бы и хотела. Но редко и хочет она этого, особенно если порядочно заматерела в днях своих. Муж, умен или глуп, но вступивши в дом со своими потребностями, со своим направлением, со своей упрямой семинарщиной, хочет вести свой порядок в доме, и чем глупее он, тем скорее принимается за это; жена, привыкшая к старому порядку, не в состоянии понять и обсудить, что единственное средство иметь влияние на мужа: во всем приспособиться к нему — и идет во всем против него; и вот между мужем и женой начинается перебранками и оканчивается ненавистью. Досадить мужу, раздражить его — удовольствие для бессмысленной жены. Разумеется, муж платит тем же. После этого, при ссорах мужа с родителями, она всегда берет сторону последних и, прав он или нет, неумолчно и неумолимо осыпает его бранью, терзает попреками, перебирает по косточке его родителей, всех родных и пр. Какой конец этого?

Молодой иерей начинает ненавидеть всё — до самых стен дома, в котором живет. Быть дома — мука для него, и он ищет всех случаев быть вне его — в приходе, у причетников, в сторожке, где бы то ни было, только не дома. Не имея в себе нравственной точки опоры, от семинарии с предрасположением злым, он принимается за чарку — сначала чтобы заглушить горе, а потом чарка делается для него потребностью и обращается в страсть. Где чарка, там он званый и не званый, часто не прошенный и не желанный. Нужно исправить обязанность священническую — повенчать брак, схоронить покойника, дать молитву родившей и т. п. — прежде всего чарка. Он наконец и делится с тестем, и остается один с женой, но успев возненавидеть ее, снискав уже привычку пить, не делается лучше. Так и волочит свою жизнь — нечистую и соблазнительную. Случается, и нередко, предается грубейшим порокам — пьяному и ненавидящему свою жену что не взойдет в голову?

Каковы должны быть дети в таком несчастном семействе — понятно. Хуже всего то, что они сызмальства привыкают презирать своих родителей и не питать к ним никаких детских чувств. Кое-как воспитанные и устроившись сами, они в мысли не держат упокоить своих родителей под конец дней их. Сын, отказывающий в куске хлеба своим отцу и матери, не думающий посетить их, не говорим уже с пособием, а и словом ласковым среди самой тяжелой болезни; сын, осыпающий своих родителей самую площадную бранью, с позором выгоняющий их из своего дома в какой-нибудь праздник и пр. и пр. — явления нередкие. Ждать ли от взрослых в таком семействе любви братской, той чистой и святой любви, которая заставляет душу свою полагать за брата своего? Ее нет — этой святой любви. Братья видятся между собой изредка, но не иначе как в праздники, и не для того, чтобы соутешиться или совозрадоваться духом, а чтобы в неистовой оргии перессориться между собою. И не здесь ли основание того глубокого разделения между лицами духовного звания, из-за которого каждый иерей видит в своем собрате если не врага, то по крайней мере недоброжелателя, завистника и пр.? Да, дурной брат никогда не будет хорошим соседом, добрым сотоварищем, надежным сослужителем. Из сердца, не согреваемого любовью ко близким, всегда вытекает зло, одно только зло, к чужим.

(...) Представляется важный вопрос: «а что делать тем иереям, которые по болезни или по старости не могут продолжать более своего служения?» Отказавшись от места и не принявши зятя, они останутся без куска хлеба. Да, именно без куска, в самом точном значении слова. Положение священника без места несравненно бедственнее, чем положение инвалида. Тот может собирать милостыню, священнику воспрещено и это. И вот, к чести наших

владык, в каком положении духовенство: подьячий, прослуживший 35 лет, и так прослуживший, что вся служба его ограничивалась сшивкой и подклейкой книг в суде, увольняется с пансионом и имеет верный кусок хлеба. Священник, прослуживший 30, 40 и более лет, на время старости и оскудения сил, не имеет ничего! Случается, в ужаснейшей нищете он обращается с просьбой о пособии к архиерею. После долгих проволочек ему иногда и назначают, но сколько? 10–15 рублей. Поневоле примешь зятя, даже и заранее зная, что с зятем не житье, по крайней мере не умрешь с голоду. Так мудрые и благонамеренные архипастыри наши допускают всякое зло, с полным сознанием, что это зло (тяжбы между тестями и зятьями идут к ним) для того, чтобы как-нибудь не поменялся прежний порядок вещей, чтобы не допустить улучшений в духовенстве. «Пусть живут, как знают, было бы нам хорошо» — это мудрое, вполне современное правило выражается во всех их действиях и распоряжениях. (...) Солдат, оставшийся на вторую службу и прослуживший 40 лет, вполне обеспечивает свою старость, учитель какого-нибудь приходского или сельского училища за 25 лет службы пользуется полным пансионом, а протоиерею, бывшему лучшему ученику семинарии, лучшему из иереев, всю жизнь работавшему головой до того, что сама болезнь развилась вследствие усиленных умственных занятий, предоставлено право умереть с голоду!

Следовательно, зло от принятия в дом может быть прекращено лишь тогда, когда старость священников будет обеспечена пансионом. Но случится ли это когда-нибудь? Нет надежды. Значит, зло это со всеми своими страшными последствиями будет существовать вечно.

Ученик выходит на праздное место. Казалось бы, тут есть все условия для счастливой семейной жизни: жизнь вдвоем, без всякого постороннего вмешательства, должна бы сблизить молодых мужа и жену, хоть они до брака почти не знали друг друга. На деле однако же не то. Выше мы сказали, как делаются у нас эти дела: ищут не подругу жизни, а денег; и — берут деньги, а с ними, что судьба пошлет. И редко судьба не наказывает за такой извращенный порядок вещей, редко к деньгам прилагается добрая жена. Иначе и быть не может. Дочери богатых священников — люд избалованный, самовольный, привыкший к лени и расточительности, а если на беду еще отец и благочинный, то с огромными претензиями (как же: из-за отца и ей кланялись подведомственные иереи, а причетники падали до ног). Образования, которое уничтожало, по крайней мере, смягчало бы все это, у нас нет, и все недостатки выказываются резко, поразительно, угловато. (...)

Из денег, полученных за женою, остается какая-нибудь безделица на действительную жизнь, а нужно строиться, заводиться всем нужным. Где брать средства? Тут является руководительницей жена. «Мой батюшка нажил себе состояние вот так: за свадьбу брал столько-то; не дают, он нажмет чем-нибудь, и ругают, а дают; за молебен столько-то, иначе и служить не станет, чего же и тебе смотреть?» Новый иерей, в душе которого не посеяно чести, правды и даже простой житейской мудрости, легко склоняется на такие убеждения и, не прослужив году, начинает страшные притязания во всем... Следствия этого понятны: прихожане возмущаются и на нового иерея смотрят, как на какого-нибудь станового, т. е. как на неизбежное зло; они платят, но с глубочайшим негодованием, с тайной, а иногда и явной бранью. Бывает и то, что всем приходом вооружаются, и как заводить ссоры не крестьянское дело, то они берут свои меры: назначают цену за все меньшую против прежнего. Иерей побьется-побьется и волею-неволею должен согласиться. В том и другом случае он с первого раза разорвал всякое единение между собой и прихожанами, и в целую жизнь ему не поправить зла, которое наделал в первые три-четыре года.

Таков, за немногими исключениями, семейный быт сельских иереев! Счастливых супружеств — таких, в которых муж видел бы в жене своей друга, помощника, советника во все доброе, в которых бы жена силой своей воли и ума, руководимых и направляемых истинною любовью, из семинариста преобразовала бы мужа своего в человека, — таких супружеств слишком мало!

Чем уничтожить это зло? Чем и как улучшить этот несчастный семейный быт сельских иереев?

Прежде всего необходимо образование для священнических дочерей. Семейное образование при настоящем положении духовенства невозможно — должно быть общественное. Да будет благословенно Царственное семейство наше: оно положило уже основание этому, устроив два училища для девиц духовного звания. Но два училища на целую Россию — что это, как не капля в море? Притом, как ни невысока сумма, которую должно платить за воспитание девиц, а для большинства сельских иереев она решительно невозможна. 60–70 рублей в год, когда годовой доход сельского иерея: 100, 150 и весьма редко 200 рублей, и из этого дохода ему нужно содержать дом и двоих-троих сыновей в училище или семинарии. Даже заплатить половину было бы невыносимо тяжело. А и кроме того: теперь жене священника необходимо самой управлять всем хозяйством, т. е. и за скотом ходить, и

жать, и молотить и пр., а воспитавшиеся в этих училищах всего этого делать не в состоянии, вот почему их и прекрасно образованных, боятся брать за себя будущие сельские иереи. Пусть же преобразуют быт сельских иереев, образуют для них жен, то есть в каждом губернском городе заведут училища для воспитания на казенный счет священнических дочерей, и — только тогда улучшится семейный быт сельских иереев. А за этим улучшением сколько прекраснейших последствий для будущего поколения!

Во всяком случае, — устроится это когда-нибудь или нет, — всеми мерами строгости и немедленно должно быть прекращено глубоко укоренившееся обыкновение — брать за невестами деньги. Разумеется, этому должно предшествовать полное уничтожение постыдной, презренной, достойной всех кар, покупки иерейских мест, и всех отвратительных поборов, которые введены при производстве иерея. Пусть божественная благодать на самом деле дается даром, без платежа архиерейской и консисторской сволочи. Тогда ученик будет искать себе жену, и возьмет лишь ту, которая придет ему по сердцу, будь она дочь беднейшего священника. Нет нужды говорить, что значит для человека жена по сердцу; какое огромное и благодетельное влияние может иметь она, даже необразованная, но воспитанная в честном, строго христианском семействе.

Скажут: «нужны ли новому иерею деньги, чтобы построить себе дом?» Так. А почему бы в каждом приходе не построить и не содержать казенного дома? — «Но это невозможно — для этого потребуется много денег». — Как! В нашей, по преимуществу православной земле, это невозможно, а у лютеран возможно? Там — пастырь обеспечен во всем от дома и до дров; там он не имеет нужды приобретать по копейкам и всеми неправдами нужное для жизни, там он не загрязнен грязными работами, не грубеет от тяжелых трудов — там все это возможно, а у нас нет? О Русь православная! И несмотря на то, мужи велемудрые не стыдятся бросать укор и злые насмешки на наше духовенство: зачем оно не таково, как лютеранское? «Из среды пасторов являются и ученые, и проповедники, семейная жизнь у них прекрасно развита» и проч., и проч., говорят антагонисты нашего духовенства. Так, все это правда. Но почему же вы, обращая все внимание на явление, не хотите разглядеть причин этих явлений? Поставьте наше духовенство в такое же положение, как лютеранское, а потом уже сравнивайте. Образуйте, как должно, юношу, образуйте для него жену, избавьте иерея от этой грязной, убийственной жизни, в какой прозябает он теперь, дайте ему хоть небольшие, но верные средства, — и смеем уверить всем, что есть святого, — вы не узнаете своего духовенства, с гордостью будете указывать на него

всякому иноверцу. Много сил в нем, — и все они подавлены. Что не гнетет его — от архиерея до сторожа консисторского, от прихожанина-барина и до последнего конюха? Вам нужны ученые, проповедники — из среды сельских иереев будут они, лишь избавьте их от этой страшной тирании, дайте им дышать свободно. Вы хотите, чтобы хорошо было духовенство, когда сквозь пальцы смотрят на то, что оно притязает, пьет и т. п., и лишь одного не позволяют иерею, чтобы он был умным и мыслящим, и преследуют его со всем ожесточением злобы, если заметят такую ересь. Спросите свою совесть: смогли бы, сумели ли бы вы быть лучше в таком задавленном положении?

3. Средства к жизни

Трудно себе представить что-нибудь менее обеспеченное, более подверженное всем возможным случайностям в средствах жизни, чем сельское духовенство. А эти сомнительные средства — как приобретаются они? В каком отношении они к самому служению священника? О, как много зла в этих средствах! Они: доход и земледелие.

Доход... Если б дали премию придумать что-нибудь, чтобы более уничтожить, опозорить духовенство, из высокого и чудного служения сделать чуть не ремесло, то верно никто не придумал бы лучшего средства, как эти нечестивые поборы с прихожан, что зовутся доходами. Священник отслужит молебен, и — тянет руку за подаванием; проводит на вечный покой умершего — тоже; нужно венчать свадьбу — даже торгуется; ходит в праздник по приходу с единственною целью — собирать деньги; словом, что ни делает — во всем одна цель у него: деньги; даже, — о, верх нечестия и позора! — примилив кающегося грешника с Богом, он берет деньги; даже приобщив его святых тайн, он не отвращается с ужасом от денег... Что ж он, как не наемник? И какими глазами должны смотреть на него прихожане? О, пройдите из конца в конец Россию и прислушайтесь, как из-за этих проклятых доходов чествуют духовенство... Какая же после этого польза от всего его служения? Какое нравственное влияние может иметь он на прихожан, когда они хорошо понимают главную цель всех его действий? А без нравственного влияния что ж он за пастырь? И при таком порядке дел на что всё его пастырство?

О, да будет в вечном благословении память Николая !! Всеми благами неба да воздаст Ему Спаситель за то, что он хотел восстановить горькое и несчастное духовенство сельское! Не мог Он знать, до чего оно убито, но желал излить высокую милость на бедных служителей Христа.

И вечное проклятие на этих эгоистов, макиавелей, книжников и фарисеев Церкви Христовой, которые по своим расчетам, по истине дьявольским, восстали против жалованья сельскому духовенству!

Говоря о доходах, мы ничего не сказали о злоупотреблениях, так обыкновенных, когда, напр., за свадьбу выжимают 5–10 и более рублей, и о прочем в роде этого. Говорить об этом слишком тяжело, слишком грустно; и горько смотреть на такой порядок вещей в Церкви Православной. А и бросить в священника камнем за эти нечестивые поборы невозможно. Больше ему делать нечего, потому что иных средств, кроме этих, нет. Самые злоупотребления как ни возмущают они душу, некоторым образом прощаешь ему, когда взглядишься в его быт.

Священник живет с семейством редко менее 10 человек, иногда в 12–15 человек. Сколько ему нужно в год на содержание семейства? Положим минимум, именно столько, сколько проживает наш крестьянин (крестьянин, которому не нужна ни ряса, ничего подобного) с семейством в 10 человек, — 120–180 р[ублей]. Кроме того у него один, два, а иногда и три сына в училище или семинарии; на двоих — на содержание и одежду (не говоря уже о грабеже учителей), на квартиру и проезды по самой меньшей мере 120 р[ублей]. У него же еще и дочери невесты; для них нужно приготовить что-либо; извольте сосчитать сколько? А необходимые поправки для стройки? А без притязаний самый лучший приход даст 150–200 р[ублей], посредственный — 60–100 р[ублей]. Что же прикажете ему делать в такой крайности?

Скажете: «молиться и надеяться на Промысл Божий». Да его не научили этому до иерейства, напротив, с него брали и даже грабили; с детства и до иерейства он привык смотреть на поборы, как на дело обыкновенное и даже неизбежное; и — спокойно, не тревожась совестью, он делает то же, что делают и все, особенно, если попадет жена, о которой мы говорили выше, тогда, ни в чем не стесняясь, никем не останавливаемый, он делает все возможные притязания. Правда, архипастыри преследуют это зло, когда возникнут жалобы; но так как они не указывают на более честные средства и на возможность иными путями приобретать нужное для жизни, то их преследование не служит ни к чему, — заставляет только прибегать священников к уловкам подьяческим, то есть так брать, чтобы нельзя было обличить. При том, самое строгое преследование, если оно не сопровождается примером архипастыря, возбуждает лишь презрение к самым справедливым мерам.

Уничтожьте нечестные поборы с прихожан, пусть между ними и священником не будет никаких денежных сделок, и вы восстановите мир между ними — и доверчиво, и с любовью будет смотреть прихожанин на своего иерея, и с благоговением будет слушать каждое его слово. Представим пример, против которого, надеемся, нечего будет сказать мудрым архипастырям, восставшим против обеспечения сельского духовенства жалованьем, — что значит обеспеченный священник. Вот что рассказывает один умный исследователь о чувашах: «Прежде, когда священники пользовались от них доходами, чуваша были более язычники, чем христиане и всей душой ненавидели своих священников; в последнее время отношение их к священникам совершенно изменилось, и самым благоприятным образом. Что же произвело такое чудное действие? А вот что: священники, получая от казны окладное жалованье, и будучи обеспечены в исправном доставлении им в руки, поставлены в совершенную независимость от своей паствы. Для священников уже нет причин потворствовать слабостям своих духовных детей и смотреть сквозь пальцы на их проступки; а паства не имеет причины ни негодовать на поборы, ни жаловаться на любостяжание. Следствие этого взаимного отношения между ними и теперь уже начинают обнаруживаться в уважении паствы, в ее послушании и готовности исполнять основанные на религии требования священников. То же самое, что было у чуваш, происходит во всех селениях на всем пространстве Руси: священника ненавидят именно за поборы, а ненавидя священника, дурно расположены и к самому его служению, неблагоприятно смотрят и на саму религию. И вот в чем основание того глубочайшего невежества, в которое погружены все наши православные во всем, что касается веры. Наши православные, без малейшего преувеличения, понятия не имеют ни о чем духовном. Хотят поправить дело? Средство одно: обеспечить священника. Последствия будут так же благотворны, как теперь у чуваш. Необходимо спешить с мерами преграды и врачевания против этой язвы, более губительной, чем чума и холера; через несколько лет, когда все будет поражено ею, никакие меры не поправят зла. Всего этого не хотят знать те, на ответственности которых преимущественно должна лежать забота о стаде Христовом, — наши архипастыри. Мы не говорим: не могут, но — не хотят, именно не хотят.

Земледелие. Где земля хороша, и священник обделывает ее собственными руками, там она служит хорошим пособием. Священник не только сыт со своим семейством, но и еще продает кое-что, когда Бог благословит хорошим урожаем. Зато посмотрите на такого священника, есть ли хоть

какой-нибудь признак, что он священник? Вот он возит навоз, возможно ли к нему, пропитанному азотом, с головы до пяток грязному, подойти под благословение? Вот он подсушивает овин. Можно ли подозревать в этом чудище, закоптелом, облеченном в лохмотья, служителя Бога высшего? Вот он на пашне, в смуром кафтанишке до колена: что это, как не мужик? А если от внешности обратиться к внутреннему его состоянию, — Боже, какая загрубелость чувств, какое отсутствие всякого понимания, что он! Весь занятый уходом за скотом, за землей, свое прямое назначение он считает чем-то побочным, чем-то лишь только мешающим делу, на которое он смотрит, как на главное в жизни. Случится требование в приходе, и особенно в рабочую пору, — с неохотой, с неудовольствием, нередко с бранью, отрывается он от своего дела; спешит исправить кое-как, лишь бы поскорее возвратиться к делу. Приходит день праздничный, нужно совершить литургию — о, какой тяжелый, невыносимый труд это для него; лучше бы он обмолотил два овина, чем отслужил одну обедню. Он служит, — нельзя же не служить, но как? С невниманием, с рассеянием; торопится сам, лишь бы поскорее вырваться из церкви, торопятся причетники: читают, поют, будто поспоривши, кто кого обгонит. Словом, священник земледелец есть тот же крестьянин, лишь только грамотный, — с образом мыслей, с желаниями, стремлениями, даже и образом жизни чисто крестьянскими. В каких-нибудь десять лет такой жизни, он до того осваивается со своим грубым и грязным бытом, что для него невыносимая мука — провести часа два-три где-нибудь в хорошем обществе; даже одеться прилично для него уже тяжело; напротив, верх его наслаждения — брататься с крестьянами в шумных и буйных их попойках; с удовольствием пойдет он в кабак, в трактир, куда угодно, лишь бы позвали; а не зовут, так сам не постыдится до безумия упиться там вместе с приятелем-прихожанином. Вот зимний вечер; убравшись со скотом, священник свободен; верно, он поразмыслит о чем-нибудь, хоть почитает что-нибудь — нет, мыслить он не научился и в семинарии; читать — значит, все-таки работать головой, а в голове его давно уже не варится ничто; умственная деятельность для него, уже понимающего и знающего одну физическую, дело невозможное; и — он идет на стойку (собрание крестьян в зимние вечера на улице), в глупой, пустой, нелепой болтовне проводит весь вечер. Скажут: «вольно же ему довести себя до такого положения, можно бы быть и земледельцем и сохранить достоинство сана». Можно бы? Конечно, можно. Но мы попросили бы кого угодно испытать на деле эту возможность, попробовать, например, размышлять о высоком и прекрасном, роясь в навозе; написать что-нибудь умное и дельное вечером после дня, который начался с трех часов утра, весь

проведен под жгучими и палящими лучами солнца до того, что и обедать было некогда, и в ожидании целого ряда таких же дней и даже недель; заняться чтением в овине, когда тут трещит, там сыплются искры, и каждую минуту грозит опасность сжечь овин.

Нет — священник-земледелец не может быть истинным иереем, даже и похожим на него. Привыкшему к неисходной грязи физической невозможно сохранять чистоту нравственную. Священник по преимуществу духом да ходит, то есть главнейшим образом должна развиваться в нем духовная жизнь, но как развиваться ей! Когда он весь погружен в заботы о семействе, чтобы оно было сыто и одето, о хозяйстве, (...) когда он, как простой поденщик, без усталости и отдыха в продолжение целого лета должен убиваться на работе?

Жизнь чисто физическая всегда убивает жизнь духовную; вот почему у священника-земледельца нет ни думы, ни помысла о чем-нибудь выше его обыденной жизни, ни даже желания вырваться из этой колеи, в которой погряб весь он. (...)

Есть священники, которые не в состоянии работать сами — по недостатку здоровья, а чаще всего по неумению приняться за дело, и прибегают к другим средствам обделывать землю, именно — большую часть работ исправляют так называемую помочью. Собрать помочь — значит собрать возможно большее число прихожан на ту или другую работу. Но этот способ так хлопотлив, соединен со столькими неудобствами, так мало вознаграждает священника, что прибегать к нему заставляет лишь одна крайность. Крестьянин наш любит поломаться, когда в нем нужда, от этого священник каждого должен просить и молить, каждому униженно кланяться, припоминая и прошедшие и будущие заслуги свои — без этого крестьянин не пойдет. А пойдет он, собственно, не за тем, чтобы работать, а более, чтоб напиться. Помочь без водки невозможно. (...) Тут две беды: не напоить крестьянина — с досады он работает дурно, напоить — работает дурно потому, что пьяный уже не может работать хорошо. От этого обработка стоит весьма дорого и всегда из рук вон дурна. А чего стоит напоить 20–40 человек, и притом крестьян, которых не скоро и не легко одолевает хмель? (...) Земля, обделываемая помочью, доставляет священнику самое плохое пособие. Хлеб, получаемый с земли, обходится ему во столько, во сколько обошелся бы и купленный; следовательно, его хлопоты, труды, тревоги награждаются почти ничем. Вот почему большая часть священников давно бы бросила землю, если б это было возможно.

А кроме того, этот способ не остается и без нравственных последствий.

1. Эти работы всегда производятся в дни воскресные или великих праздников, потому что в будни крестьянин ни за что не оставит своей работы. Каков же пример подает священник? Как он будет требовать от прихожан, чтобы они седьмой день посвящали Богу, когда сам первый нарушает эту заповедь?
2. Пьянство сильно развито у нас в простонародье, и главная причина его бедности и большей части преступлений; как священник восстанет против этой губительной заразы, когда сам, собственными руками, поит прихожан допьяна?
3. У крестьян много пороков, самых грубых; всеми силами и средствами священник должен искоренять их, но известно, что искоренять пороки, значит — вооружать против себя порочных; как же священник будет действовать, когда всякое обличение и исправление раздражает порочного; и раздраженный против него никогда не пойдет работать к нему? Поневоле, он сначала терпит и молчит, а потом уже и привыкает к этому, и самый грубый порок в его прихожанине кажется ему чем-то обыкновенным, неизбежным. (...)
4. Во всем нашем простонародье до сих пор существует глубоко укоренившееся представление: гостю не пить без хозяина. Ему подносят, он дотолле не примет чарки, пока не выпьет сам подносящий, не выпьет — гость обижен, и не скоро забудет обиду. Так и на помочи: не пьет священник с крестьянами, — все дело испорчено: стоит сделать это раз, чтобы после никакими мольбами не дозваться прихожан на работу. Есть священники, близко нам известные, которые при поступлении на места не только не имели никакого расположения к водке, но даже чувствовали глубокое отвращение к ней. Что ж. Начинаются работы; сначала прихожане смотрят дико на трезвого священника, потом и вовсе перестают являться на помочь к нему. Что делать? Залучит он как-нибудь двоих-троих, и — сделает им честь, то есть хлебнет несколько капель; сначала ему кажется это отвратительным, но чем долее — тем сноснее, и втягивается мало-помалу в пьянство. Начнет пить, и работы пойдут, и крестьяне уже не отказываются помогать ему. Что прикажете делать после этого? Будь священник обеспечен в главных потребностях жизни, не имей он нужды в услугах крестьян, вознаграждаемых, по вековому и неистребимому обычаю, водкой, — он не падал бы так глубоко; по крайней мере не падал бы в самые первые годы своего иерейства. А устоявши в первые годы, самые трудные, он, особенно

тот, кто в семинарии не получил наклонности к водке, во всю жизнь остался бы воздержным и трезвым. (...)

Да, земля доставляет священнику большие или меньшие средства к жизни, но вместе с тем служит источником глубокого, ничем не поправимого зла.

Для улучшения его быта необходимо или вовсе избавить его от земли, или дать средства возделывать ее посредством вольнонаемных рабочих. А лучше совершенно освободить от нее; пусть он, ничем посторонним и таким тревожно-хлопотливым, как земледелие, неразвлекаемый, знает одно свое дело — служение иерейское. (...) При вольнонаемных рабочих все-таки он будет фермер, а не священник, и с ними ему необходимо с утра до ночи быть в поле, иначе все пойдет дурно и плата их не окупится заработками их. Даже тот, кто не совсем еще забыл свое назначение, будет только полуфермер, полуиерей, то есть ни в поле для себя, ни в служении для прихожан не сделает ничего истинно прочного, надолго полезного. Земля была существенно необходима для священника в прошедшие века, когда не было ни училищ, ни семинарий. У него, например, два-три сына, — народ рослый, здоровый, что было делать им, всегда живущим дома, как не орать вместе с отцом? Теперь не те требования от детей его; как же, казалось бы, не изменить радикально быт его? Но нет! С одной стороны, его осудили прозябать, как прозябали деды, прадеды до князя Владимира, с другой — хотят, чтобы отвечал и современным требованиям, был иереем не по имени, а на деле — мудреная логика, возможная только в православной Руси!

4. Отношение сельского иерея:

а) К прихожанам-помещикам и крестьянам

Из всего доселе сказанного можно составить некоторое понятие об отношениях сельского иерея к прихожанам своим. Как пастырь он должен бы иметь влияние на прихожан своих, и влияние полное, ничем не ограничиваемое, ничем не стесняемое. Между тем на деле наоборот: находясь в полной зависимости от прихожан в приобретении средств жизни, он подчинен их влиянию; не прихожане от иерея воспринимают что-нибудь доброе, а иерей от прихожан воспринимает дурные привычки, злые наклонности. Вообще священник в отношении к своим прихожанам находится в положении самом горьком, самом жалком, самом нелепом. Положение его еще невыносимее, если в приходе есть помещик; но верх его несчастья, если их несколько.

Не знакомый с бытом помещиков, постоянно живущих в своих имениях, никак не поверит, если правдиво описать их быт, их жизнь. Да и трудно поверить, — так далека их жизнь от имени, которое они носят (благородные). Не будем говорить о помещиках-холостяках и живущих в разводе со своими женами, которых, однако же, не мало в каждом уезде; вся жизнь их может быть выражена одним словом — разврат глубочайший, бесстыдный, ни перед кем не скрываемый, дошедший до *pes plus ultra* своего развития, до того, что в целом имении нет девицы неоскверненной, нет молодой женщины неопозоренной, нет семейства, в которое помещик не внес бы своей погибельной заразы. Даже помещики с семействами живущие представляют из себя что-то такое до того непонятное, что трудно решить: к какому бы классу отнести их. По названию — они благородные; на основании этого они считают себя классом привилегированным, которому предоставлено право жить и действовать на полной свободе (...), каждый помещик, даже каких-нибудь 20–30 душ, считает себя аристократом, которому все должно подчиняться, перед которым все должны благоговеть; словом, чтобы видеть тщеславие самое гигантское, но выражающееся в ничтожных мелочах, облеченное в нелепейшие формы, — нужно видеть помещика в его усадьбе. По наружности, они люди образованные: в каждом доме вы услышите французскую фразу, увидите фортепьяно, найдете артистов в танцах и т. п. Но взгляните поглубже, изучите внутреннюю жизнь этих помещиков, — и вас изумит, поразит, ужаснет пустота и пошлость всей их жизни. Карты, вино, собаки — у мужчин; карты, сплетни, интриги — у женщин, — вот на что иждивается вся жизнь их. Из девяти раз в десятом доме вы найдете какую-нибудь библиотеку; но и тут не спрашивайте ничего дельного и серьезного: мерзости французской школы, — вот из этого состоят библиотеки — достояние и наслаждение барышень, которые еще не могут участвовать в удовольствиях отца и матери. Проведите в таком семействе несколько вечеров сряду: на первый раз, быть может, вас и займет болтовня о собаках помещика, о пакосях исправника или предводителя в делах политических (как же — каждый считает себя глубочайшим политиком, и по пальцам перечтет все ошибки Правительства, и даже даст заметить, что все пошло бы прекрасно, если б обратились за советами к нему); на другой вечер вам подадут карточку — откажетесь, такая же болтовня, что и вчера, на третий та же, а так *ad infinitum*. Напрасно вы захотели бы навести собеседника на мысль живую, светлую, могущую затронуть ум; вас не поймут, от вас отделаются какой-нибудь пошлой остротой. Такова большая часть уездных помещиков. Разумеется, есть исключения, но эти исключения относятся к большинству как 1:100. И как ни пуст помещик в себе, а

посмотрите, как он смотрит на своих крестьян, как он обращается с ними: рабочая лошадь и крестьянин для него совершенно все равно, а борзой несравненно выше и важнее для него всякого крестьянина; о том он заботится, чтобы был накормлен, а в отношении к крестьянам у него забота одна: выжимать из них пот, кровь и все силы. Если прибавим к этому, что у редкого помещика, кроме жены и семейства настоящих, нет еще жены и семейства где-нибудь в людской, прачешной и т. п., то можно будет составить некоторое понятие об этом люде.

Каково же должно быть положение священника, у которого в приходе такое сокровище? Что ему делать, как иерею, как пастырю душ? По Апостолу: запретить, умолить, настоять благовременно и безвременне? Боже спаси и помилуй! Да осмелюсь только священник хоть намекнуть помещику о беспорядках его жизни, которые служат примером для дворян, для крестьян, — ему житья не будет. Помещик сам не будет принимать к себе в дом, и крестьянам запретит (часто бывает это, и даже вот за что: священник откажется повенчать брак в ближайшем родстве, или повенчать против воли жениха и невесты, или схоронить засеченного барином без следствия и пр.); и вот священник без всяких средств к жизни. Этого мало, — еще принесет жалобу преосвященному, описав священника так, как только ему хочется. А на суде владык наших помещик всегда прав, священник всегда виноват без всякого следствия. Как же иначе и решать? При объезде епархии преосвященный найдет у помещика и роскошный обед, и обильный ужин, и музыку, и все; а что взять у бедного священника, который в душной и курной избе почти постоянно довольствуется сам пустыми щами, редькой и тому подобными анти-монашескими снадобьями. Не сесть же в самом деле за подобный стол и не слушать оглушительную музыку ребятишек! Барыни снабжают преосвященных подушками, коврами совей работы (всегда девки работают), вареньем, и всем прочим довольствуют их, — что так необходимо для аскетической жизни; а что даст попадья? Много-много что холстину! На чьей же стороне перевес? И вот дело самое обыкновенное: едет помещик с жалобой; узнав это, едет и священник с объяснением. Помещик, — будь он из дурных дурной, идет прямо в гостиную архиерея; священник, — будь он образец хорошей жизни, останавливается где-нибудь на крыльце, хоть будь мороз градусов в 30. Помещик там два-три часа; с невыразимым человекоугодием выслушивает его архиерей, обещает всякое удовлетворение, и дает слово, еще и не выслушавши священника, перевести его куда-нибудь подальше и в село возможно похуже. Наконец допускается и священник, передрогший, измучившийся долгим ожиданием пред лице

архиерея. Не кроткое слово апостольского преемника встречает его, а грубое, жесткое, грозное: «что ты наделал там, нелепый?» — поражает его на первом шагу. У священника от такой приветливой речи содрогается весь организм; в глазах у него темнеет, мысли путаются, язык немеет; вместо настоящего объяснения он бормочет кое-что. «А, ты еще вздумал оправдываться, — прикрикивает на него архипастырь, и не расслушав то, что говорит он, — пошел вон!» И без суда и следствия, по одному словесному доносу, по одной всесильной, ничем не ограниченной воле архиерея, священник с позором гонится из села, где устроился, всем обзавелся, и, загнанный в какой-нибудь беднейший приход, до конца жизни бедствует страшно.

И архиерей, поступая таким образом, показывает, что он человек, вполне понимающий современные правила жизни: «делай угодное, не разбирая справедливо или нет, тем, кто может тебе заплатить за это; и презирай, гони, правы они или нет... — тех, которые ничем не могут воздать тебе». Помещики от такого архиерея в восторге, угощают его славно, и чуть на руках не носят: на что лучше? Кроме того, помещики кричат громко, и голос их легко может достигнуть до Петербурга. А священник? Оказать ему милость, и даже справедливость — кто, кроме Бога, услышит его благословения? Пусть же он, задавленный, стонет, обливается кровавыми слезами, гибнет преждевременно, оставляя семейство в полной нищете, — что за беда? Лице слишком ничтожное, чтобы думать о нем!

И священник, боясь гибели, боясь не только за себя, сколько за семейство свое, безмолвен при самых дерзких, самых нечестивых, самых соблазнительных выходках помещика своего. При нем в доме помещика кощунствуют над всем святым (самый обыкновенный пример разговора у помещика за столом, особенно, когда тут же случится и священник), нагло ругаются над учреждениями Церкви, — и он сначала возмущается всей душой своей, содрогается до глубины костей и мозгов, а восстать против этого — смело, крепко, как подобает иерею — не смеет. Чем далее, тем хладнокровнее слушает подобные выходки, и наконец до того привыкает к ним, что и сам вклеивает анекдоту... Вот родила дворовая девка, священник хотел бы побранить ее за распутство, да еще барыня просила о том же: житья нет, все девки перебаловались, а как бранить? Что, если она под особенным покровительством барина? И молчит он, а чего доброго и водочки выпьет, поздравляя с благополучным разрешением. Вот — лучшему крестьянину барин приказывает взять за себя девицу, успевшую родить двоих-троих, отбиваться от распутной (почти всегда поневоле) перед

барином невозможно: и высекут, в месяц не забудешь, и взять не минешь; и он обращается с мольбой к священнику, чтоб не венчал. Напрасная мольба! Священник хорошо знает все несчастные последствия подобного брака, но как идти против воли барской? И венчает. И наконец он не иерей, а тот же лакей, лишь в другом костюме. Зато и помещик к нему хорош, и принимает его ласково, и делает участником оргий своих. Нет нужды, что священник и напьется — это ничего: похочут и на другой день поправят его, одного не простят: если он осмелится быть настоящим иереем.

Но поставленный в такое положение в отношении к помещику, может ли он быть настоящим пастырем для прихожан крестьян? Нет. Преследовать зло и порок в крестьянине, когда тут же, перед глазами, большее зло, страшнейшие пороки, против которых он не может восстать, значит — слишком резко противоречить себе, да и трудиться без пользы. И у крестьян есть своя логика; а на все убеждения священника они будут отвечать одно: «так, мы дурно делаем, — нам за это и казни в настоящей жизни и ад в будущей; а барин-то делает похуже, что ж? и здесь-то он живет в раю, и в будущей, чай, ты обещал ему рай же... — а коли за такие дела в самом деле ад, так чего ж ты не скажешь барину, не остановишь его дел, не пригрозишь ему адом, как и нам, грешным? Барину можно это делать, а нам нельзя; полно, ты только нас морочишь и стращаешь, верно, с барского приказы»... Что против этого скажет священник? Ему остается молчать и — плакать о таком страшном положении своем, если он еще сохранил в себе самосознание; или — идти к помещику и в оргиях заглушать последние проблески совести.

А если в приходе два, три и более помещиков (...), то жизнь его, при все человекоугодничестве, невыносимая мука. Почти небывалое дело, чтобы помещики-соседи жили дружно между собой. Они знакомы и нередко посещают один другого, однако ж это не мешает взаимно сплетничать и чернить, конечно, за глаза, соседа. (...) Что делать священнику в таком приходе? Он сошелся с одним, угодил одному, через это вооружил против себя других. Угодить всем, по самому его служению, невозможно. Так, один требует, чтобы обедня начиналась в 8 часов, другой — в 10, случился праздник — нужно идти по домам, петь молебны: он пришел к первому N.N., все другие обиделись этим, — зачем не к ним первым, и не принимают священника в дом, а если уж примут, то так распекут, что не скоро забудет. Случается, даже жалуются архиерею. И вот потеха в одном и том же приходе: одни не находят слов хвалить священника, другие — бранят его.

Архипастырь, как и следует, решает не в пользу того, на чьей стороне правда, а кто богаче: священник спасен, если более достаточный на его стороне. (...)

Более свободен в своих действиях священник в том приходе, где прихожане — казенные крестьяне. Но и тут священник неизбежно подвергается влиянию прихожан, и не может быть настоящим пастырем. Кроме того, есть еще обстоятельство, которое, при настоящем положении дел, слишком губительно действует на него. В нашем простонародье доселе неизменным сохраняется то свойство, которое во времена давние отличало предков его, — гостеприимство. Прекрасное в себе, оно однако же слишком грубо, невыносимо-навязчиво проявляется у крестьян.

Случился праздник, например, Пасха — священник ходит с образами. Угощение — то есть водка и закуска — в каждом доме. Молебен отслужили, и священника просят почтить хозяина — выпить водки и закусить. Священник отказывается, — перед ним становится все семейство на колени и не встает, пока священник не выпьет. Не подействовало и это; уговорил он хозяев встать, и идет не выпивши: конечно, хозяин в страшной обиде: с негодованием бросает что-нибудь за молебен, и уже не провожает священника. А это выражение величайшего неудовольствия. Обыкновенно священника из одного дома все семейство провожает до ворот другого.

После священник не осмелится и толкнуться к нему с какой-нибудь нуждой — грубый отказ: ты не хотел почестить меня, так я не слуга тебе. Так в одном доме, так в другом и третьем и далее, и к концу деревни самый осторожный и крепкий едва в силах исполнять свое дело, менее осторожный и крепкий совершенно теряет свое сознание, и чего только не делается в таком положении!

Дурно это, нестерпимо дурно, совершенно согласны мы с этим. Но просим стать кому угодно на место священника и сказать: как бы поступил он? Выдержал бы он все: и просьбы, и гнев, и не стал бы пить ни в одном доме? Но после этого целая деревня, весь приход негодует на него. Настало время работать, — ни один крестьянин нейдет помогать; тут он что станет делать? Двумя своими руками немного сделаешь. Он наймет работников, а на что? Вот была Пасха: крестьянин бесспорно дает священнику положенное, когда доволен им, а недоволен — бросает какую-нибудь мелочь, и никакие просьбы, никакие мольбы не заставят прибавить — следовательно, после Пасхи собранной суммы в итоге сущая безделица и та уже вышла на расходы домашние. (...) Будь у священника другие средства, более верные, не будь он скован земледелием — дело иное. Негодование прихожан не было бы для

него страшным, потому что не повело бы к таким потерям, от которых ему пришлось бы так страшно бедствовать. (...) Десять лет терпения, — и крестьяне привыкли бы видеть в священнике человека трезвого и воздержанного и перестали бы его мучить своими неотступными просьбами. И при таком положении духовенства, поистине горьком и погибельном, нашлись архипастыри, которые дерзнули сказать, что жалованье не нужно!

Кстати, несколько слов вообще о хождении по приходу. Если когда-либо решатся приступить в самом деле к преобразованию духовенства, то в числе самых необходимых мер должно быть совершенное уничтожение этих хождений. К чему и для чего они?

Нужно служить молебен — пусть служат в церкви. А то посмотрите, что делается в селах: пьяные служат, пьяные молятся; что ж это за молитва? Да, эти хождения не дело религиозное, а лишь обычай, положим вековой, с единственной целью собирать деньги. Уничтожьте этот обычай — и вы уничтожите наполовину пьянство и беспорядки в духовенстве. Можно допустить одно: раз в год поднять образа, но с одним непременно условием, чтобы каждая деревня делала это особенно, приготовившись постом, чтобы в день поднятия священник служил литургию, на которой была бы вся деревня, чтобы священник прямо из церкви шел с образами по всей деревне, не скидывал облачения и по окончании дела ни на минуту не останавливался в деревне, возвращался опять в церковь с образами. Вот это было бы прекрасно, было бы дело чисто религиозное. А то, напр., о Пасхе тащат образ из одной деревни в другую девки и бабы; тут и шум, и хохот, и перебранки; после волокут священника с причтом в телеге — не позор ли это для религии? И не лучше ль средство вконец убить всякое расположение к ней крестьян?

б) К причту

Чудное, непонятное, ничем не объяснимое явление в нашей Церкви: причт принадлежит к духовному сословию! Дьяконы, дьячки, пономари в числе духовенства! Поистине «духовные лица».

Что это за люд? Объясним хоть коротко их генеалогию.

Ученик, в училище или семинарии, совершенно сбился с толку: он и пьяница, и буйан, и вор, словом — дурен до того, что даже в наших духовных заведениях терпим быть не может, и его выгоняют. Выгнанный года два-три и больше шляется. Где пришлось, и на вольной свободе совершенствует свои разнообразные способности. Открывается где-нибудь место причетника; он

просится, и его определяют. И вот вместо того, чтобы его выгнать совсем из духовного звания, освободить сословие от заразы, по самой строгой справедливости — отдать в солдаты, его делают членом клира, служителем Церкви, меньшим служителем, правда, но все-таки Церкви, а не другого чего!.. Исключений тут нет, потому что в наших учебных заведениях исключаются лишь отъявленные негодяи. Бездарные, даже ленивые, но ведущие себя хорошо, перетаскиваются из класса в класс и доводятся до окончания курса. Каким же он может быть, и всегда бывает, служителем Церкви?

Если в училище, под ферулой (присмотром) беспощадно наказывающих его учителей он был негодяем, и никакими казнями не мог быть исправлен, то можно ли ждать от него добра на месте, где он пользуется полной свободой и еще располагает кое-какими средствами? Нельзя ждать, и обыкновенно не бывает добра. Сельский причт (да и городской также; дьякона мы причисляем к причту потому, что он как по происхождению — иногда из выключенных, так и по духу, направлению и стремлениям, большею частью едино с дьячком и пономарем), без малейшего преувеличения срам и позор — не звания, а человечества. Он ниже, отвратительнее всего, что только есть в людях. Всякий крестьянин выше его: он бывает груб, жесток, упрям, но трудолюбив, почтителен к высшим себя, по-своему честен, имеет понятие о стыде и совести; предается грубым порокам, но сознает, что делает дурно, и редко падает до того, чтобы, потеряв человеческое в себе, низойти до степени животных. В причте же обыкновенно ни тени ничего подобного! Он невообразимо ленив, бессовестен, дерзок и — без малейшего сознания своей дурноты! Короче: это — животное, вечно алчное, прожорливое, хищное, хитрое на самые злые и пагубные проделки, радующееся погибели других и особенно высших себя... И такое животное — член духовного сословия! И ему дано право входить во все действия и распоряжения священника как по приходу, так и по церкви, до того, что он должен вместе со священником свидетельствовать все книги, касающиеся прихода, все документы церковные; должен наблюдать за приходом и расходом сумм и пр., и пр. Можно ли придумать что-нибудь нелепее такого устройства клира?

И с таким-то человеком должен жить и действовать священник! При пособии его должен совершать божественные служения и исправлять все требования приходские! Каково же должно быть положение священника?

Представим некоторые случаи. Случается, священник на первых порах своей жизни хотел бы улучшить то и другое, завести и служение поболагоевейнее,

и служить в приходе молебны починнее, но против этого всегда, явно и нагло, восстают причетники и дьякон особенно. Жалобы на них ближайшему начальству не помогают, донос преосвященному, если не повредит совсем священнику, то измучит его следствиями, побьется-побьется священник и бросит. Случается, священник, не погрязший еще в омуте жизни, несколько времени выдерживает все нападения крестьян — пить водку, за то он лишается настоящей расплаты за молебен. Иной, может быть, как-нибудь и перенес бы еще эту невзгоду, но тут же поднимается ужаснейший бунт дьякона и причетников. С первых же домов деревни они всегда успевают упиться до безумия, а в таком состоянии чего не позволит себе подобный люд? От этого, нет слов позорных, нет брани отвратительной, которыми бы они не осыпали священника. Доходит нередко до того, что священнику необходимо спастись бегством от разъяренных своих сослужителей. Но они проспятся и сознают свою вину? Ничего не бывало — в праздники они не просыпаются: в полночь, как и в полдень, они в одном положении, потому что ради праздника у каждого в доме водка. Поэтому, ехать с ними опять в приход, значило бы рисковать священнику собственным здоровьем; как бы ни были они пьяны, а вчерашней истории не забыли и постарались бы кончить ее сегодня, и он откладывает хождение до окончания праздника. Вот у них наконец прошло несколько безумие, и священник приказывает им отправляться в приход. «Мы поедем, отвечают они, если священник будет брать сполна за молебен — без этого нет», и не едут, чтобы тут священник не делал. Одному ходить нельзя, и он оставляет приход. Так проходит один праздник, другой. Прихожане раздражены донельзя, их еще более подзадоривает причет, а так называемых горланов и подпят к тому же, — и страшная буря разражается над священником! Напрасно он хотел бы объяснить, в чем дело — его не слушают, и все его убеждения заглушают криком: «сам больно спесив, дьякон и причетники у нас хорошие люди и у нас выпьют, и нас угостят, а тебе ничего не в честь, до владыки дойдем» и проч. Утишить бурю — одно средство: удовлетворить требованию причта и прихожан, и удовлетворяет так несчастно поставленный иерей, и, восседая за одним столом с поганым причтом своим, чередуется с ним в чарках... И торжествуют, и довольны дьякон и причетники, что унизили своего священника; сидя на одной скамье, пользуясь одинаковым угощением, они уже считают себя равными ему, и не заикнись священник сделать им замечание, потребовать от них должного: на слово правды наскажут они сотни обид ему. Воздержный и трезвый иерей был им опасен, теперь бояться нечего: беснуйся, сквернословь, делай все пакости — не посмеет донести, сам тут же был. И Боже мой, Боже мой! Если б миллионная доля

праздничных поддетелей была выведена на свет Божий, то каким вечно-неизгладимым пятном покрылась бы наша Церковь! Священник служит молебен — сзади его дьякон играет на гармонике, причетники пляшут, и все семейство крестьянина хохочет, священник святит воду — тут же, за дверью, дьякон в стихаре тормозит бабу, а та с бранью и криком отбивается от него; священник вошел в дом и спрашивает: куда ж девались дьякон и причетники, и вот, после долгого ожидания, ведут к нему дьякона, вытащенного где-нибудь из канавы, всего в грязи и с связанными орарем руками, потому что он порывался еще драться, а о причетниках говорят, что и привести их нельзя — до того они хороши, или что связанные привязаны где-нибудь к столбу — эти и подобные им явления еще не самые резкие и поразительные. (...)

Или вот что делается в каждом, без исключения, приходе, когда у крестьянина заведется свадьба. Прежде всего, недели за три, он должен объявить священнику и причту о своем намерении. Это значит, что он должен привезти водки и угостить всех досыта. Затем, во все время до свадьбы, дьякон и причетники пользуются всеми случаями посещать этого крестьянина, нередко и с женами своими и каждый раз он должен удовлетворить их, то есть напоить до бесчувствия. Накануне свадьбы он должен явиться с хлебом-солью ко всем, с деньгами на свадьбу и с неизбежной водкой. Напоенные, однако ж, мало снисходительны к крестьянину, и назначают всегда изрядную сумму за повенчание. Крестьянин торгуется, уходит, возвращается, набавляет полтину, рубль, два, нет — не уступают, поит их еще, напивается сам и кое-как наконец улаживает дело. Приезжают с поездом, священник в церкви, причет не является. Посылают за ними, несут им водки, пива, пирогов, и — если до свадьбы угощения были достаточны (...), то поломавшись немного, они идут, если ж казалось им мало, то нелегко затащить их в церковь. Поезд стоит час, два, нередко с 11 часов дня до темной ночи, им — и дела нет. Спросят: а что же смотрит при этом священник? При настоящем положении дел в духовенстве, ему делать нечего. Он приказывает, его не слушают, часто ходит сам к иным по домам — и тоже без всякой пользы. Их наконец спрашивают: чего ж они хотят? — «А вот, — отвечают они, — ты не хотел угощать нас хорошо, так за это — полведра теперь, по меньшей мере, четверть водки, без этого не пойдем, стой хоть неделю». — Делать нечего, посылают за водкой, или дают им деньги. Удовлетворенные, полуживые, являются они, наконец, в церковь. Что делается именно так и нередко — подтвердит каждый крестьянин Московской, Ярославской, Тверской и Владимирской губерний.

Как истребить все это зло? Средство одно: радикально преобразовать устройство клира. В Церкви и приходе должно быть одно лицо, официально назначенное и утвержденное — священник. На полной ответственности его, и его одного, без всякого вмешательства иных лиц, должно лежать управление делами по церкви и приходу. Лишь только действуя самостоятельно, не стесняемый никем, может он ввести улучшения и порядок в богослужении, так искаженном, так уничиженном в настоящее время. Без этого все преобразования и улучшения в быту и деятельности сельских иереев — ни к чему. Будь священник и умен, и честен, и богобоязлив, — то есть будь он настоящим иереем, но доколе существует настоящее устройство клира, он не в состоянии сделать ничего дельного. При всяком необходимом нововведении, он встретит от причта и пререкания, и претыкания для себя, за которыми неизбежны: ссоры, вражда и судбища. Тут никакое терпение не поможет; этот люд, развращенный до последней степени, дерзок и упрям до того, что и вообразить трудно. (...) Каждая борьба возмущает душу; как же священник будет приносить жертву мира с душой возмущенной, чуждой мира? О, как часто между утреней и обедней дьякон и причетники нарочно стараются уколоть, уязвить, раздражить священника, и он, сохранив все наружное хладнокровие, служит однако же литургию с растерзанной душой и предстоит пред страшным престолом с тем же дьяконом, который сейчас только терзал его! Как часто причетник, подавая кадило священнику, тут же говорит ему грубости, как часто, пьяный, он бесчинствует, хохочет, бурлит на клиросе и даже в алтаре, и все это среди самой литургии! Скажут: «для искоренения всего этого необходимы меры строгости». Нет, никакие самые строгие меры не помогут. (...) Ведь наказывают, хоть чрезвычайно редко, и теперь, однако ж это не производит ни малейшего впечатления. Притом, чем злее, чем ожесточеннее человек, тем он изобретательнее на мерзости и на умение скрыть их. (...) Вот, например, в алтаре дьякон или причетник жестоко оскорбил священника; священник не вынес — донес. Следствие: кто видел, кто слышал. Никто. Остальные клянутся всем святым, что этого никогда не бывало, и оскорбитель еще жалуется, что священник обнес его напрасно. Какой конец? — да то-то что троим верят больше, чем одному священнику и — отдают его под суд за несправедливый донос.

Или вот один из многого множества случаев, который может дать верное понятие о положении священника в отношении к причетникам. В одной из самых бедных ...ских церквей пятнадцать лет тому назад был священник прекраснейшей жизни. Строгий к себе, он был строг к дьякону и

причетникам. Нестерпимым за то казался им священник, и все средства употребляли они погубить его. Прямо и явно они однако же не могли сделать ничего, так он чисто держал себя. Они обратились с самыми нелепыми клеветами к благочинному. Благочинный был образец благочинных — весь состоявший из жажды денег. Священник и по бедности прихода и по семейству — детей у него было 9 человек, не мог удовлетворять этой жажде, и страшно зол был на него за это благочинный. С одной клеветой он, однако, не мог восстать на священника. Правда, передавал ее всю, и с собственными дополнениями, архиерею, и успел жестоко вооружить его против священника, но все это были слова, а дел не было. Наконец, он сказал причту, что лишь бы они нашли случай зацепить повернее священника, а он уж сделает свое дело. И вот какую проделку придумали дьякон и причетники. В самый Великий пяток священник пришел к часам, дьякон и причетники стоят в алтаре. Священник начинает часы, — дьячок безмолвен и неподвижен. Священник приказывает ему читать, — он отвечает бранью. Священник просит его выйти вон, — он ругается сильнее и кричит на всю церковь. Священник идет и читает сам — он заглушает его голос ругательствами. Что оставалось делать священнику? Встревоженный и расстроенный до последней степени, он скидает облачение и уходит из церкви. Горько плакал он весь день, а дьячок тут же отправился с доносом к благочинному, что священник изругал и даже прибил его в алтаре, среди службы сбросил с себя ризы и ушел домой. В этот же день благочинный явился с доносом к архиерею. Как ни был архиерей вооружен против священника, однако ж уговаривал благочинного — примирить священника с причтом, тот не согласился, и дело пошло в ход. Священник (...) рассказал все, как было, подтвердить его слова было некому, в церкви еще никого из прихожан не было, единственные свидетели — дьякон и пономарь — были вместе с дьячком устроителями всей этой проделки. И вот решение дела: «священник сам сознался, что ушел из церкви, не кончив служения, за это (...) его лишить места и на шесть месяцев послать в дьячки». Главная же вина всего — дьячок — не понес ни малейшего наказания. Советовали священнику жаловаться в Синод, но как жаловаться, когда свидетелем всего дела был Господь? Кроме того, будь священник богат, он бы и без Синода был бы оправдан, а у бедняка — у него не только не было денег на бумагу для жалобы, но и нужнейшее-то на Пасху он приготовил с горем пополам. И, Отец Небесный, что вытерпел он, вытерпело все его семейство в шестимесячное его подначалие и в целый год, который провел он потом до приискания места! Если не перемерли все они с голоду, то обязаны этим одному из бывших прихожан-крестьян; он, помня какую-то заслугу

священника, каждую неделю привозил ему по пуду ржаной муки, таким образом целых полтора года несчастные питались, и то не всегда досыта, одним ржаным хлебом с водой.

Подобные вещи — дело очень обыкновенное. И все это будет до скончания века, если дьякон и причетники будут в таком же отношении к священнику, как теперь. Жалованье не сделает их лучше, потому что этот народ неисправим. При жалованье будут: та же зависть, — зачем священник и получает и чтится больше, то же пьянство, или вернее пьянство увеличится еще больше, потому что увеличатся средства, словом, будет в тысячу раз хуже, жизнь священника еще невыносимее, дела позорные чаще, и все сословие упадет еще ниже.

Нет, не так должен быть устроен клир, если хотят, чтобы Церковь процветала и служение иерейское достигало вполне своей цели. Дьяконы должны быть вовсе уничтожены в селах (а также и во всех уездных городах, кроме соборов), причетники не должны принадлежать к сословию духовенства — их необходимо совсем исключить из него. Начать с дьяконов: на что они в Церкви? Какую пользу они приносят Религии? Какую нужду имеют в них Православие и православные? Ни малейшей! Всякое дело по церкви и приходу прекрасно обходится без них. А зла и вреда от них бездна. Из поддетелей (проделок) их разве тысяча первая доходит до архиерея, все прочие, по разным причинам, сходят с рук. Пройдите вдоль и поперек Россию, спросите любого священника на всем пространстве ее, и каждый, перед Богом и совестью, подтвердит эту истину. Дьякон — вечный клеветник священнику на причетников, причетникам — на священника, вечный завистник священнику, вечный оболститель причетников и даже прихожан на бунт и возмущение против священника, вечный сеятель раздоров, зачинщик тяжб. И с ним-то священник должен совершать божественные служения! Другое дело — при служении архиерейском, в монастырях и соборах, также в городах, по большим приходам — там, для торжественных служений, он пусть будет, там, при архиерее или архимандрите, которые имеют неограниченную власть над ними, они не опасны. А в селах — их истребят как самую злую язву, все заражающую и губящую.

Причетники не должны быть определяемы в Церкви, как теперь, а вольнонаемные, как, например, сторожа. Ученик исключен из училища или семинарии, как негодный, следовательно, он никак не заслуживает того, чтобы принадлежать церкви. Пусть он припишется к крестьянству или к мещанству, и если способен — нанимается в причетники. Дурен он, пьян и

развратен, — священник его прогоняет и нанимает другого. Но нет, он побоится быть дурным, зная, что с потерей места лишится средств жизни. (...)

в) К благочинным

Для ближайшего надзора за духовенством учреждены благочинные. Необходимы в городах, где духовенство все-таки приличнее держит себя, тем более необходимы они в селах.

Но достигается ли в настоящее время цель, с которою учреждены они? И насколько достигается?

Прежде всего эта должность, чрезвычайно важная, если понимается и исполняется как должно, весьма редко поручается иерею отличному между собратами по уму, образованию и жизни. Такие иереи никогда не бывают искательны, никак не захотят жертвовать деньгами, доставаемыми тяжким трудом, на приобретение и сохранение какой бы то ни было должности. А должность благочинного всегда и неизбежно должно купить, иногда и очень дорого. Поэтому она предоставляется большею частию иерею жалкой посредственности во всем, но артисту зашибить копейку. Естественно, что купив эту должность, он хочет выручить потраченные деньги — и с барышом; значит, цель учреждения благочинных извращена в самом основании своем.

Далее — всякий гражданский чиновник, всякий становой, всякий подьячий, не исключая и рассыльных при земском суде, получают жалованье; лишь благочинному нет ничего. А между тем у него немало расходов существенно необходимых: напр., на содержание канцелярии, на наем рассыльного и т. п. Вот и еще повод благочинному обирать вверенных ему.

Еще: благочинный, будь он глуп и безнравственен, как только можно, но если щедро расплачивается с правлением и консисторией, он крепко держится на своем месте; более — его хвалят, награждают, ставят в пример другим. Он не в состоянии соединить двух мыслей, написать толково и понятно двух строк, — нет нужды: в правлении или консистории за него напишут, сделают, всё приведут в порядок. Но горе благочинному умному и ведущему себя примерно. Дела свои он ведет сам исправно и честно, держит он себя так, что не имеет нужды ни в чьем снисхождении, поэтому платит какую-нибудь безделицу. Что ж за это? Гонение самое неутомимое, самое пошрое и мелочное. Придираются ко всему, заваливают его выговорами, двадцать раз заставляют переделывать какую-нибудь ничтожнейшую ведомость, не указывая, чего недостает; словом, употребляют все подьяческие проделки, чтобы заставить такого благочинного отказаться от

должности. Оканчивается всегда тем, что он теряет терпение и отказывается, а на его место заступает более угодный правлению или консистории.

Наконец, всякий труд требует вознаграждения. Деятельность благочинного, если он все дела исправляет сам, чрезвычайно трудная. Жалованья нет; и он ищет и требует вознаграждения от вверенных ему.

После этого, что же благочинный в нашем духовенстве?

Мытарь — в самом строгом, точном, буквальном значении этого слова. Единственная цель всех его действий — обирать, на сколько хватит сил и умения, церкви и духовенство. Да, церкви! Спросите втихомолку любого старосту церковного, сельского или городского, и он вам скажет, чего ему стоит в год благочинный...

Но чтобы позволить себе такие вещи, нужно иметь сожженную совесть. Именно такова она, без малейшего преувеличения, у многих сельских благочинных, за редкими исключениями. Если бы было обыкновение каждую вещь называть своим именем, то по самой строгой справедливости их следовало бы называть зло-чинные, потому что кроме зла от них нет ничего больше. Жажда денег у них ненасытимая; и к каким средствам не прибегают они для удовлетворения этой жажды! Все возможные притеснения, несправедливости, оскорбления тому, кто живет честно; всякое снисхождение тому, кто живет позорно — вот обыкновенный образ их действий. Для чего и почему? — А для того и потому, что честный, или ведущий себя если и не отлично, то по крайней мере настолько осторожно, что прицепиться не к чему, дает благочинному всегда умеренно, к церковной кружке прикоснуться не позволяет, а сам назначает старосте — сколько дать благочинному. А ведущий себя дурно — безмолвный и безответный данник благочинного, нередко и плачет, а несет и везет благочинному, чего только не потребует он. При непорядочном иерее — благочинный сам, собственными руками, отсчитывает из церковной кружки, сколько хочет, а нередко и без счету берет, сколько захватилось. Этого мало: благочинный обыкновенно на стороне причта, защищает и поддерживает его всеми силами; для чего? — для того, чтобы причт, вполне надеясь на безнаказанность, чаще бунтовал против священника, и являлся сам и тащил священника на суд к благочинному. А уж дело известное: где судбища — там взятки, и чем грязнее, чем позорнее дело, тем взятка крупнее. Вот почему церковь, служители которой живут мирно между собою, или хоть ссорятся, но прекращают споры домашними средствами, у нередкого благочинного опальная церковь. Вот почему бесчинства и беспорядки сельского

духовенства достигли этой ужасающей крайности: каждый знает, уверен, что если он начудит и Бог знает что, но стащит благочинному десятка два-три рублей, то его подетели будут скрыты все, и в годичной отметке о поведении он будет аттестован лучше лучших.

Вся беда беднякам-иереям: пустой, ничтожный случай, ненамеренная ошибка, явная, нелепейшая клевета — все это сей же час выставляется на вид Правительству — с прикрасами и дополнениями, потому что бедным, как и честным, такой благочинный непримиримый враг. И гибнет бедняк совершенно незаслуженно и напрасно, а богатый, двадцать раз заслуживший наказание, спокойно влачит свою соблазнительную жизнь, мало этого — его награждают.

Но почему же не жалуются на таких злочинных? А кому? Правлению? Консistorии? Да такой благочинный — золотой родник для них. (...) Такому благочинному все задушевные друзья — от секретаря или члена консистории до последнего правленского сторожа. (...) Архиеерею? И тут письмоводители, келейники также стоят горой за него, и вместе с консисторией пользуются каждым случаем — расхвалить его перед архиеереем... что и тут жалоба? Она сдается на рассмотрение той же консистории и, предубежденный в пользу благочинного, вполне утвердит решение консистории, и окажется виноватым и накажется принесший жалобу, да еще накажется в пример другим, чтобы другие не осмеливались и помышлять о подобных дерзостях.

Св. Синоду? Ох!

Мы выставили лишь очень обыкновенные, обыденные деяния благочинных, а о том, как они при обозрении своих благочиний — некоторые пьяные, бесчинствуют в домах священников и даже в самих церквях, как они осыпают ругательствами тех, которыми недовольны, и такими ругательствами, какие можно слышать лишь от коноводов, и даже в присутствии женщин и детей, и о прочем тому подобном, мы уже не решаемся говорить, слишком срамно, слишком тяжело и горько.

Как искоренить это зло? Одно средство — уничтожить существующий порядок, по которому благочинные назначаются консисториями. Для блага всего духовенства благочинные должны быть избираемы самим духовенством, и при том на определенный срок. Вот единственное, и при том верное средство злочинных заменить благочинными.

И странно, отчего это происходит, что, когда все у нас, так или иначе, идет вперед, одно духовенство стоит неподвижно, точно Китайская монархия —

во второй половине XIX века в нем те же уставы, тот же порядок, то же управление, что были в XVII, XVI и далее веках? (...)

Всем сословиям дано право свободного выбора из среды себя на служение судебное и административное; мещанин, крестьянин — и те выбирают себе голову — кого хотят, кого находят лучшим, лишь православное духовенство лишено этого права! Или оно ничтожнее в государственном быту самых крестьян? Или оно так бессмысленно — бессмысленнее всякого мещанина, что не сумеет выбрать дельного для себя благочинного, умного депутата, совестливого и правдивого члена правления консистории?

Все это от неумеренной жажды власти наших архипастырей; власти, не терпящей ни малейшего ограничения, ни малейшего послабления, такой деспотической власти, которая никогда не решится допустить не только свободного выбора кого-нибудь или чего-нибудь, но если б только было возможно, не позволяла бы дышать и думать свободно.

Pereat ecclesia — fiat nostra voluntas! Вот девиз всей их деятельности (...) вот причина этого страшного, погубительного для Церкви застоя русского духовенства. Вот что бы то ни стало, если б для этого нужно было сгубить всю Церковь — они стараются сохранить ту же силу, то же значение, какое архиерейство имело в XV–XVII веках, другие сословия ушли для них от этого, и далеко ушли, но духовенство пока в их руках, так что хоть над ним, елико возможно долее, сохранить свою страшную силу!

И вот где разгадка их жесточайших преследований всякой новой мысли, нового требования, малейшего поползновения выйти из этого невыносимого положения, вот объяснение их несогласия на то, чтобы сельским священникам дали жалованье.

«Доколе оно, — такова их задушевная мысль, выражаемая каждым действием, — белое духовенство, убито нуждами, все погружено в грязь, доведено до такого безвыходного положения, что и думать ни о чем лучшем не в состоянии, дотолле мы можем его унижать, гнать, давить, как только нам угодно, дотолле всякий священник перед нами — негр американских колоний (именно таковы отношения между священником и архиереем, как между негром и плантатором), которого мы можем казнить и миловать, А улучшится его положение, выйдет он из этой отвратительно-черной кожи — он, пожалуй, заговорит о правах своих, как члена одной и той же Церкви, чего доброго, — будет еще требовать, чтобы с ним поступали как с человеком, как с служителем Бога Вышнего, чтобы мы — даже мы! —

обходились с ним с уважением! Гибни белое духовенство, лишь бы наше самовластье сохранилось целым и неизменным!»

А между тем, если бы только в назначении и определении благочинных изменили средневековый обычай, сколько последовало бы из одного этого благих последствий! Дайте духовенству право самому выбирать из среды себя благочинных и выбирать на три года, не больше, и исчезнет нечестивое племя злочинных, будут выбраны, по крайней мере, несколько не артисты грабежа и покровители всякой мерзости, а наиболее добросовестные, честные и умные. (...) А чтобы не было благочинному и повода брать с вверенных ему деньги, для этого необходимо назначить ему известную сумму на канцелярские расходы, на наем писца и рассыльных и т. п., и жалованье хоть небольшое за труды. (...)

г) К правлениям и консистории

В последнее время слышны повсюду жалобы на страшные злоупотребления в нижних присутственных местах (гражданских). Но что, если б эти жалующиеся посмотрели, что делается в духовных правлениях и консисториях? Верно они нашли бы, что земские и уездные суды в сравнении с ними то же, что ничтожный холерин в сравнении со злейшей холерою и поприумолкли бы со своими жалобами.

Да, есть судебные места, где во имя закона попирается всякая правда, попирается так явно, так бесстрашно, так нагло, что и вообразить трудно; есть судебные места, [от] которых бежит всякий порядочный человек, о которых все говорят с презрением, самые названия которых обратились в притчу и позор, — это духовные правления и консистории. Что же особенно дурного в них?

Там восседает глубочайшее невежество в отношении к правам и законам. Нет нужды, что членами консистории (о правлениях и говорить нечего; они ниже и позорнее всего, что можно только себе представить) иереи-магистры и протоиереи. Быть может, некоторые из них и в состоянии написать проповеди, но юридического смысла знания и смысла нет ни в одном, — говорим положительно и не боимся, что нас обличат во лжи. Чего бояться? Пусть любому члену, напр., Тверской консистории поручат разобрать сколько-нибудь серьезное дело, подвести нужные законы и составить определение, — тогда увидят, правду ли говорим мы. В консистории они то же, что головы в волостях: сидят и подписывают, что подадут им; или нет — выше голов, — исправляют грамматические ошибки, да переписывают резолюции заранее приготовленные. Но известно, что ничто так не

надменяется, как невежество: внешним quasi-величием оно старается прикрыть внутреннее ничтожество. Известно, что ничто так не завистливо к истинным достоинствам, как невежество, — вот почему член консистории всегда представляет из себя такую личность, о которой и говорить невыносимо тяжело. Он доступен для полтинника, для целкового, для бутылки рому, для фунта чаю, и недоступен для лучшего иерея в епархии, если тот имел дерзость явиться ни с чем. Он друг и покровитель благочинного — отъявленнейшего грабителя, и неусыпный гонитель иерея честного. [...] Он, — но скажем коротко: цель всех его действий — взятки, во что бы то ни стало взятки.

О подьячих и говорить нечего. Если члены консистории позволяют себе подобные вещи, то чего ж не позволит себе подьячий, бывший некогда семинаристом и выгнанный из семинарии за пьянство, буйства и тому подобные деяния?

Секретарь — это душа консистории, и везде, всегда, без исключения — жесточайший бич духовенства. Чтобы не распространяться об этой личности, скажем только, что секретари консисторий считают свои годовые доходы десятками тысяч. Откуда и каким образом? Ясно и понятно, что путем чистым и честным приобретать столько нельзя; нужно прибегать ко всем подьяческим ухищрениям, к бессовестнейшим проделкам, к жесточайшим притеснениям, чтобы выжимать из духовенства такие суммы.

Каково же положение духовенства при таком управлении, и особенно духовенства сельского, беззащитного и загнанного? Не напрасно же сельский иерей (да и всякого уездного города) больше содрогнется при известии, что его зачем-то вызывают в консисторию, чем при вести, что в его приходе показалась холера; от холеры еще быть может Господь и спасет, но кого прицепила как-нибудь консистория, тому нет спасения. Прав он или нет, всё равно; должен везти туда то, что скапливал в продолжение многих лет по копейкам; а если этого нет, то продать последний хлеб из закрома или последнюю скотину со двора. Без этого найдут средства если не совсем погубить его, то навсегда заклеить позорным: «Был под судом и штрафован».

Как ведутся дела там, где у всех — от членов до последнего сторожа — цель одна — обирать и грабить, понять легко. Вот один из тысячи там известных случаев. В одном селе, пять лет тому назад, подрались священник и дьякон — пьяные. Дьякон принес жалобу. Началось следствие, и священнику воспретили богослужение. Священник съездил в консисторию, ему

разрешили богослужение и воспретили дьякону. Съездил дьякон туда же: ему разрешили и воспретили священнику. Дело продолжалось с лишком два года, и ровно по четыре раз каждому разрешали и воспрещали, так что, наконец, местного благочинного совершенно сбили с толку. Покажется ли это невероятным? Да и в самом деле трудно поверить, чтобы такая кукольная комедия могла быть допущена в деле такой важности, как священнослужение. Однако ж мы сказали совершенную правду, и если б кому угодно было поверить, то мы назовем и село, и лица. Кончилось тем, что когда из обоих выжали все, что только можно было выжать (священник распродал весь скот, даже в сентябре продал озимовое поле), то дьякона вывели в другое село, а священника оставили свободным от всякого наказания. Так ведутся все дела. Даже если священнику нужно взять для сына или дочери метрическое свидетельство, то оно обходится 10–15 р. серебром. Иначе его продержат месяцы.

Говорят в свое оправдание пишущие и подписывающие — первые: «мы получаем слишком малое жалование», вторые: «мы не получаем никакого жалованья: так как же не брать?» Но почему же не спросите себе жалованья у Правительства? Невозможно это? Так обложите все духовенство прямым налогом, и будьте затем честны в своих действиях, если только можете. С охотой, с радостью каждый священник отдаст 5–10 р. в год, если будет уверен, что его уже не притеснят ни в чем, не будут искать, как бы прицепиться к какому-нибудь делу; будут смотреть на него как на иерея, а не как гордые вассалы смотрят на своих данников, и в случае нужды окажут ему всякую справедливость, не растягивая дела по месяцам и годам.

Но будут ли когда-либо наши консистории лучше? И не думается, и не верится! Разве только огонь, который разольется после суда страшного по всей земле, выжжет эти места нечестия, срама и позора для всего духовенства, для всего управления нашего.

д) К Епархиальным архиереям

Главная цель служения архиерейского — пасти вверенное ему стадо. Чтобы вполне достигнуть этой цели, ему необходимо знать все духовные нужды своей паствы, нужды до бесконечности разнообразные, потому что паства его состоит из целой губернии, т. е. из сотен тысяч человек, среди которых неизбежно встречаются и высокая образованность, и глубочайшее невежество, и вера во всей чистоте, и отчаянное неверие, и самое дерзкое вольномыслие, и самое наглое нечестие. Но возможно ли узнать все нужды архиерею, постоянному жителю губернского города, лишь изредка,

мимоездом, осматривающему некоторые части своей паствы, и то те, которые лежат на почтовом пути? Возможно. У него есть сослужители — иереи, самым назначением своим обязанные содействовать своему архипастырю в великом деле его служения. Пусть он сблизится с ними, держит себя перед иереями не трехбунчужным пашой, а настоящим преемником апостолов, к которому каждый иерей мог бы обращаться доверчиво, искренно и с любовью, как к отцу, и в два-три года он ознакомится с духовным и нравственным бытом своей паствы, как не ознакомится в двадцать лет, или, лучше, никогда без этого средства.

А узнавши нужды истинные, существенные, а не воображаемые, как теперь (в таком-то классе должен быть развит такой-то порок), он уже может придумывать и средства к предотвращению и, по возможности, уничтожению их.

И в этом случае иереи могут быть верными и надежными советниками. Если и в физических недугах одна и та же болезнь, например, холера, проявляется бесконечно различно, по различию организмов, и от этого ни против одной болезни нет универсального лекарства, так, и тем более, в недугах нравственных. Следовательно, архиерею мало знать, где особенно гнездится какой порок, ему необходимо изучить, и в какой степени развился он, и как он действует — эпидемически, и как он проявляется в лицах разных сословий и пр., а потом уже приступать к врачеванию его. А кому все это ближе, вернее и точнее знать, как не местному архиерею, который с утра до ночи, лицом к лицу с этим пороком?

И что укажет надежнейшие средства против него, как не тот же иерей, знающий не только степень развития этого недуга, но и личности (...) недужных? Так, посоветовавшись с местными иереями, архиерей не стал бы говорить о смирении перед барскими крестьянами, забитыми, задавленными, доведенными до состояния рабочих животных, о Божьем милосердии перед барями, которых нужно бы громить словами неподкупной правды, не стал бы ублажать купца за то он построил новый иконостас и позвал его на освящение, — купца, который три раза был банкротом, ограбил, пустил по миру десятки семейств, и старших членов этих семейств вогнал преждевременно в могилу, а младших — в распутстве искать себе средств жизни...

Нет, узнавши все, как есть, он обличил бы порок, словом Евангелия изрек бы суд над нечестием, строжайший суд над этим наглым лицемерием, которое иконостасом вздумало сделать удовлетворение Богу, совести, ближним за

прежние разбойничьи подетели; утешил, подкрепил, ободрил бы надеждой на воздаяние небесное страдальцев земных. И слово это не было бы звуком меди звенящей, как теперь, а словом живым, проникающим до глубины костей и мозгов, и не забывалось бы оно с отъездом его, а врезавшееся в сердца слушавших, передалось бы сотням, тысячам не слышавших. Так, при содействии иереев архиерей достигал бы, несколько это в силах человеческих, цели своего звания.

А теперь что? Создатель мой! Что может быть унижительнее, позорнее, бесчеловечнее того, как архиереи обращаются с иереями вообще и с сельскими в особенности? Кто бывал у архиереев в те часы, когда являются просители, тот без сомнения видал, что иереи, даже покрытые сединами, постыдно толкаются в сенях (даже и не в прихожей!) с причетниками и мужиками; сидят на лестнице в ожидании выхода владыки; нет нужды, что это бывает и морозы градусов в 25, — архиерей держит их часа по два, по три; а пожалует какая-нибудь барыня, — и по пяти часов, и после такого ожидания еще прикажет сказать, что сегодня не принимает просителей, и чтобы они явились завтра. Вот образчик того, как архиереи милостивы и доступны иереям. Но этот образчик слишком ничтожен — то ли бывает!

Но оставляем свое намерение описать всё, что бывает в обращении архиереев с сельскими иереями, и слишком много потребовалось бы бумаги, и слишком горько писать подобные вещи, да и какая в этом польза? Скажем коротко, что архиереи не хотят видеть в иереях служителей Бога вышнего, своих собственных сотрудников в великом деле пастырства, но не людей. Как собак держат их за дверьми своих прихожих: кликнув на несколько минут — для подачи ли прошений или для необходимых объяснений — и стараются как можно скорее выпроводить их из своей прихожей.

Не только не удостоят продолжительного собеседования, даже подойти близко не хотят они к иерею, а из дверей зала протягивают руку для приема прошений. Словом, если кому угодно видеть азиатское чиновничество во всей его красе, во всем его отвратительно-пошлом велелепии, — от стуканья в пол подчиненным и до фигуры начальника, в которой ярко выражается одно — необъятное, ничем не удовлетворимое, тщеславие, — тот пусть проведет несколько суток при архиерее и внимательно и беспристрастно всмотрится в его обращение с подчиненными.

Какие же следствия такого обращения? В одних и тех же сенях вместе с иереями толкаются причетники и мужики; на одних и тех же ступеньках заседают, с таким же презрением архиерей смотрит на иерея, как на

последнего пономаря, сторожа, солдата — будет ли после этого кто-то уважать несчастного иерея? И не вправе ли причетники, наглейшим образом оскорбляя своего иерея, говорить (и говорят всегда): «э, да что ты значишь? Столько же, сколько и мы, преосвященный и с тобой обращается, как с нами?»

А из-за служителя, всеми презираемого, не подвергается ли и служение его всеобщему презрению?

Спаситель мой! На седалищах апостольских восседают все книжники-доктора и магистры богословия, но где же ныне обитает дух апостольский, Дух твой, обнимавший чудною любовью все человечество — от первого и до последнего грешника в мире? (...)

По неизреченному снисхождению Ты дал власть дивную жертву из Твоего тела и крови; и в них, в этих иереях, поставленных Тобою так высоко, — так высоко, что на священнодействие их самые ангелы взирают с благоговением и трепетом, архиереи не хотят видеть не только служителей Твоих, но даже и людей, и смотрят на них как на собак нечистых! Ужели веруют они в Тебя, в действительность чудной жертвы? Если бы веровали, то не отвергали бы с таким незаслуженным презрением и жертвоприносителей...

И иереи под гнетом такого обращения всеми средствами и мерами стараются избегать свиданий с архиереями. Ни один сельский иерей, бывая по каким-либо делам в губернском городе, не осмелится побывать у архиерея так, просто, чтобы принять благословение и услышать какое-либо наставление. Лишь крайняя необходимость заставляет его преодолеть свой страх и явиться пред лицом владыки.

И тут, если б кто заглянул только, что происходит в душе его, тот переполнился бы весь негодованием к такому порядку и состраданием к несчастному. Вот — он стоит или сидит, и по всему телу у него холодная дрожь. Угодно ли кому удостовериться в справедливости этого? Пусть любого сельского иерея, готовящегося предстать пред архиереем, заставят написать или подписать что-нибудь, — увидеть, какие страшные конвульсии в руках у него...

Он обдумывает, как и что сказать архиерею; но мимо его непрестанно снуют архиерейская сволочь — от письмоводителя до лакея — и каждый как будто необходимым считает толкнуть его и разорвать нить его мыслей лакейски грубым: — Что стал на месте? — Он отходит на другое место; но где бы ни стал, где бы ни сел, везде не на месте; везде ругают, отовсюду с

ругательством гонят; и он, еще не выдавшись с архиереем, уже растерялся и наполовину забыл, о чем нужно говорить.

«Преосвященный идет», — шепотом раздается в толпе просителей, и он не чувствует земли под собой; и легче было бы ему, если б вместо этих слов сказали: — Потолок валится. — Приняв прошения, архиерей обращается к нему с вопросом: — «Тебе что?» — «Объясниться с вашим высокопреосвященством». — «Верно кляузы какие-нибудь; у вас вечно кляузы».

От этих слов, высказанных грубо, жестко, раздражительно, иерей теряется окончательно; мысли его путаются, несвязно, бестолково, невнятно он бормочет кое-что, не умея дать себе отчета, где он и что делается с ним. Не расслушав и не дослушав, архиерей обращается к нему спиной, и конечно объяснение, от которого нередко зависит спокойствие и даже судьба всей жизни иерея и всего его семейства. Слово, одно только слово для приветия и ободрения, могло бы успокоить встревоженный дух иерея, и он получил бы возможность ясно и толково высказать, за чем являлся. Но нет таких слов в устах архиереев, как и в самом взгляде не выражается никогда ни милости, ни снисхождения.

И эти же сатрапы в рясах всегда таким образом рекомендуют барам сельских иереев: «что за ослы эти деревенские попы, — слова толкового не услышишь от них, удивляюсь еще, как вы терпите их и допускаете к себе!»

Рекомендация, поистине самая благонамеренная, самая умная, самая архипастырская. Так бессовестно и бесчеловечно топтать в грязь целое сословие в присутствии тех, у которых цель всей жизни — все попирать своими ногами; как бы говорить: «мы уже совсем растоптали попов, топчите кстати и вы, — все ослы, и большего не заслуживают». На это способны только смиренные архипастыри православной Руси!..

Каков архиерей в своем неприступно-страшном доме, таков же и при обозрении епархии. Не остановится он переночевать в доме бедного иерея, а заранее наводит справки, где есть помещики; так, чрез их усадьбы и направляет свой путь в надежде переночевать где-либо. Остановится и прикажет к себе явиться окрестным священникам. Те являются и в лакейской ждут по нескольку часов, пока его высокопреосвященство, натолковавшись со всеми, удостоит выйти к ним. Озадачит их милостивым словом: «Слышу я, что все сельские попы пьяницы, буйаны, притесняют во всем прихожан; смотрите, если о вас дойдет до меня то же, не ждите милости», — и отпустит.

Ждите после этого себе уважения, не говорю от бар, но даже от лакеев и от мужиков-прихожан так принятые архиереем несчастные иереи!

е) К раскольникам

Одно из самых странных, трудно объяснимых явлений в Русской Церкви — раскол. Казалось ли, возможно ли, чтобы русский человек со своим здравым смыслом, со своим умением терпеть и переносить разные невзгоды жизни, на основании такой пустейшей причины, как исправление церковных книг, решился разорвать всякое единение с Церковью, возненавидел ее чинопочинание, забыл святыню мощей и чудотворных икон, отказался от вековых своих привычек?

Однако ж это случилось! Отчего и почему?

Едва ли по тем причинам, которыми обыкновенно объясняют это явление. Не Требник — самое Евангелие исправлялось десятки раз, даже искажалось нелепейшим образом переписчиками; и из этого не возникало никаких смут в Церкви. Мало знакомые с грамотой русские спокойно молились по рукописным книгам, едва ли и догадываясь даже, что в них есть грубейшие ошибки. И вдруг такая ревность за букву, за какое-нибудь слово!

Нет, что-нибудь было не так. Не место высказывать здесь все наши соображения об этом.

Зло росло и тем страшнее, что народ и прежде мало и скудно знакомый с истинными началами веры, но чувствующий неизбежную потребность в ней, вздумал сам себе составлять эти начала или искать учителей веры из среды себя, не доверяя уже ни одному лицу, принадлежащему Церкви. Можно представить, какой свет веры распространяли подобные учителя, действиями которых руководили невежество и злонамеренность! С ожесточением против Церкви, против веры православной разлился и разврат, грубейший, позорнейший и отвратительный...

Что делается теперь для обращения раскольников? То же самое — меры строгости. Но цель всех этих мер, кажется единственная — дать возможность обирать этих несчастных всем, кто только имеет какое-либо отношение к ним. Беспощадно, страшно обируют их городская и земская полиция, губернские правления...

Священнику ли отставать от других? По мере сил хватает и он, разумеется, — сельский иерей по десятку рублей, городской по несколько десятков,

протоиереи считают поборы сотнями. Случаются, что они возмущаются против всех этих мерзостей, но на подобные случаи есть особенные меры.

Можно ли что-нибудь вернее и надежнее придумать для усиления раскола и большего отдаления раскольников от Церкви? Подобное обращение с ними не может не раздражать их, и раздражает до того, что в каждом православном — от знаменитейших архиереев до последнего писца в правлении или земском суде — они видят себе врага жестокого, непримиримого, готового или ограбить их, или довести до тюрьмы. Самому благонамеренному и честному священнику они верят мало; а если когда и сближаются с которым, то после долгого, самого строгого наблюдения над ним и вполне убедившись, что он не имеет намерения обирать их. Как же должны смотреть они на сельских иереев, иереев таких, каких большинство? Они поят и кормят их, дают им деньги и подарки и — презирают глубочайшим образом. Смотря на раскольников, и православные отдаляются от самой Церкви, и обращения из православия в раскол совершаются каждодне.

Да, повторяем: раскол не уменьшается, но увеличивается с каждым годом, несмотря на то, что архиереи каждый год доносят Синоду: по делам веры всё обстоит благополучно, совращений в раскол не было, напротив, обратилось в православие столько-то...

Обратилось!.. Вот каковы эти обращения. Молодому раскольнику-крестьянину (или купцу, мещанину — все равно) нужно жениться, потому что явная незаконная жизнь, позволяемая лишь помещику да купцу миллионеру, строго воспрещается человеку небогатому. Он является к православному священнику и просит повенчать. Тот не венчает; раскольник платит ему деньги. Священник пишет его обратившимся, ведет в церковь и иногда в самом деле венчает, если случится при народе; чаще, если без народа, попоет что-нибудь и отпустит.

Раскольники перевенчивают по-своему, налагают на него покаяние (обыкновенно поклоны и деньги); и как прежде, так и после брака он и знать не знает Церкви. Священник пишет его и жену в исповедной ведомости православными; и доколе они исправно платят, отмечает их или бывшими у него у исповеди или не бывшими по отлучке и т. п. А забудет доставить священнику ежегодную подать, священник уведомляет исправника, что М. М. снова обратился в раскол. Тот приезжает и обращает в православие, т. е. обирает в пользу свою и священника, как только хочет: раскольник же делается еще упрямее и ожесточеннее.

Консистория и архиерей всё это знают. И как для священника тот приход самый благодатный, так и консистории особенно дорожат этими священниками: средства у них хорошие, нажиты они не добром, следовательно, их всегда можно отдать под суд, — с полной надеждой — поживиться изрядно, до чего, однако ж, священники не доводят себя, расплачиваясь с консисторией щедрой рукой; и в годичном отчете всё обстоит благополучно! Всё, что мы сказали об обращении, сказали на основании многих дел в земских и уездных судах, которых мы сами были очевидными свидетелями и невольными слушателями.

Во многих селах, где раскольники считались лет за 20 десятками, теперь половина, две трети раскольники. Знаем это от священников и особенно от самих раскольников.

Когда же и как истребится у нас эта язва? Тогда, как радикально преобразуется у нас все духовенство; тогда, как оно поймет свое высокое назначение и вырвется из этой непроницаемой тьмы, в которой болтается теперь; тогда, как само правительство поймет, что для обращения их нужен образ действий, совершенно противоположный настоящему; тогда, когда городничие, исправники и высшие их не будут грабить раскольников — словом, кажется, никогда!..

В заключение считаем не лишним сделать необходимое дополнение.

1. В последнее время ни один архиерей, ни консистории, ни правления не обратили ни одного раскольника в православие, хотя каждый год вызывают для убеждения сотни их.
2. Обращения бывают изредка, но наружные, мнимые, по человеческим расчетам (например, чтобы остаться купцом, что для раскольника невозможно) и без малейшего внутреннего отвращения. Раскольник, что и жид, при настоящем положении дел, никак не сольется с Церковью и при первой возможности разорвет соединение с нею. Знаем это наверное от них самих, обратившихся и необратившихся, и говорим положительно, потому что лгать им в таком важном деле не было ни повода, ни нужды.
3. Устройство церквей, в которых богослужение совершалось бы по старине, не уменьшит, если не увеличит зло. Думают, что это сблизит их с Церковью, — какое грубое заблуждение, показывающее совершенное незнание духа их! Вот в Москве, в Рогожской, построена церковь — Архипастырь Москвы возрадовался этому великому событию и радость свою выразил в грамоте. Вероятно, в надежде сколько можно сблизиться с ними,

он написал эту грамоту в их духе до Иисуса Христа, против чего так горячо ратовал некогда. И он достиг своей цели? Нет и нет! Говорим с полным убеждением. Так: знает ли он, что раскольники буквально исполняют правило какого-то собора: прокляни епископа ты поставившего (в иереи) в ереси сущаго, и заставляют своих священников проклинать поставивших их наших архиереев?

Сельские иереи, как проповедники в городских соборах

Прекрасна цель, с которой сельским иереям вменено в обязанность проповедовать слово Божие в городских соборах. С одной стороны — каждый праздник в соборе должно возвещаться слово Божье, с другой — сельские иереи хоть раз в год освежат свою голову размышлением и составлением слова, хоть раз в год явятся тем, чем должны быть непрестанно, — провозвестниками истин евангельских. Но и эта цель, как и все в духовенстве, превращена в источник доходов.

Должность цензора проповедей, всегда и без исключения, поручается не тому иерею в городе, который отличается умом, хорошей жизнью и пониманием дела проповеди евангельской, а тому, который заплатит больше. Но, заплатив, нужно выручить затраченные и с барышом. И — вот о чем вся забота цензора, к чему направлена вся его деятельность, сами проповеди — дело последнее для него. Так и понимает это дело большинство сельских иереев. И прекрасно достигается прекрасная цель: иереи платят, цензоры берут и в свою очередь расплачиваются!

И чего же требовать от большинства сельских иереев? Лет десять-двадцать живши в деревне до того они отвыкают от работы головой, что уж не проповедь, а написать простую записку, письмо — для них невыносимая тяжесть. Случается, некоторые тщеславные, особенно из молодых, еще хотят показать себя, и являются с проповедью. И что ж это за чудь и чушь? Обыкновенно, это компиляция из нескольких проповедей прошлого века, собранная, местами дополненная и объясненная ими самими. Пусть слушаются и назидаются городские слушатели такими дивными проповедями!

Само собой разумеется, что большая часть слушателей бегут из церкви при самом начале проповеди, оставшиеся, с досадой, со скукой, с отвращением и к проповеднику, и к самим проповедям, дожидаются конца. И какое последствие этого? Является после полусотни подобных проповедников пятьдесят первый — со словом, вылившимся прямо из души, проникнутый

всей теплотой веры, всей крепостью убеждения, с искреннейшим желанием передать свое убеждение слушателям и — его бегут, и его слушают рассеянно, без внимания. Что слушать? Все гиль несут, — таков обыкновенный ответ слушателей, когда упрекнул их в невнимании.

Бывает и хуже. Являются на кафедру такие, которых за неделю, за месяц, видели в кабаке, в трактире в том же городе. Бывают и еще хуже. Являются прямо из какой-нибудь лавочки, и, вполпьяна, нечестивыми устами дерзают возвещать слово божественное. Удовлетворенные заранее цензоры на все подобные вещи смотрят как на дело обыкновенное; а нередко и сами поднесут чарку-другую ради смелости.

Доносят лишь на тех, которые почему-либо или совсем не представят денег, или представят их мало. Представить отличнейшую проповедь без денег, значит — заранее обречь ее на полное измарание, часто с нелепейшими и бессмысленными замечаниями цензора.

Нет, не так бы должно вестись это дело. С истреблением зла — настоящих цензоров, с избранием годных и достойных, строжайше подтвердить им: 1. Допускать на кафедру лишь известных своею хорошою жизнью иереев. 2. Позволять произнести лишь ту проповедь, которая могла бы заинтересовать, тронуть и убедить слушателей. 3. Часа два-три поучить проповедника, как произносить, чтобы он сказал проповедь, а не проболтал, как болтает его пономарь «помилуй мя Боже».

Пусть таких проповедей и таких проповедников явится не больше десяти в год, все же лучше, чем сотни компиляторов и тысячи полупьяных проповедников. 4. Все такие проповеди доставлять в конце года архиерею, чтобы он а) верно и безошибочно мог судить о степени образованности своей епархии; б) знал лучших иереев; в) награждал дельнейших и поручал должности способнейшим и г) поверял самого цензора. Но чтобы делал все это сам, и отнюдь не назначал комитетов. Лучшее средство — повести сквернейшим образом какое бы то ни было дело — учредить комитет и поручить ему это дело.

Были назначены у нас комитеты для просмотра катихизических поучений и суждений о них. Через два-три года действий этих комитетов, набитых бездарнейшими, пустейшими и завистливейшими иереями и протоиереями, те катихизаторы, которые к своим поучениям не могли или не хотели прилагать денег, бросили отсылать и сами поучения, а иные бросили и само дело. И к чему посылать, заранее зная, что зависть и невежество все перечеркают, все перепачкают и втопчут в грязь самый усердный, самый

благонамеренный труд; а преосвященный, на основании их суждения, сделает оскорбительнейший выговор, обиднейшие замечания?

А чтобы избирать и цензоров, сколько возможно более гордых и достойных, то протоиереев и иереев каждого города вызывать на очередь в губернский город, где заставляя их сказывать проповеди, заранее собравши точные сведения об их поведении. Пусть достойнейшим цензорства окажется простой иерей, а не протоиерей, ему и поручить должность, потому что тут должно быть дело не в звании, а в знании дела.

Но здесь, как и во всем, самое важное, самое главное — истребить взяточничество. Дело великое, одно из важнейших в Церкви Христовой, да ведется чисто и безукоризненно честно. Только при этом условии слово Божие будет проповедоваться с надеждой на успех.

Награды

Всякий полезный труд требует награды, — аксиома. Но это — аксиома везде, кроме духовенства, или точнее, кроме несчастных иереев в селах и уездных городах; потому что архиереи и их сателлиты всеми силами стараются, чтобы это было аксиомой для них, и проблемой, когда дело касается бедного сельского духовенства. Когда заговорят о награждениях ему, мудрые архипастыри обыкновенно отвечают: «за что ж награждать? Оно обязано трудиться, и ничего особенно-отличного не делает». Да Боже мой! А вы разве не обязаны трудиться? Зачем же вы так алчете повышений на лучшие епархии и орденов? И что же такого, особенно отличного для веры и Церкви православной делаете вы, т.е. большая часть из вас? — Вы служите (не чаще сельских иереев) и больше или меньше усердно исправляете свои дела: не одинаковы ли права на награды, разумеется, различные?

Несчастные иереи! Вам даже отказывают в праве на награды. Писец, подьячий, выгнанные из низших классов училищ за неспособность, пьянство, или буйство, имеют право на чины, на знаки беспорочной службы, на орден Владимира за 35 лет службы — вам одним отказано в этом!

«Но как же отказано? Духовенство низшее получает награды». Правда, получает, но права получать не имеет. Там, где есть право, там отказать в награде, в чем бы она ни состояла, не смеют, там назначены сроки для выслуги. Пришел срок, и выслуживший не имеет нужды ни молить о представлении, ни платить за то деньги, он может требовать — то ли же в духовенстве? Определены ли сроки для получения наград?

Знает ли, по крайней мере, священник, что после известных лет службы честной и беспорочной он наверное получит какую-нибудь награду, без всяких со своей стороны хлопот? Нет, ничего этого нет у нас. В этом, как и во всем, у нас господствует полный произвол консистории: его же хочет милует, и его же хочет казнит, — и награды иереям обратила в продажу с аукциона (особенно дешево продавались у нас в последнее время набедренники — рубля три-пять, и оттого почти вся молодежь, служившая года по два, по три, увешана ими, тогда как прежде нужно было служить лет 15 и более). А осмелся иерей потребовать заслуженного, так его так отделают за честолубивое требование, что он и внукам закажет помышлять о чем-либо подобном.

«Но священник — слугитель Бога вышнего, к чему же ему награды земные, от людей? Награда его на небе — от Бога». Так. Но священник, прежде чем священник, — человек; и логически ли будет воспрещать ему те желания и стремления человеческие, которые не вредят ни его званию, ни его делу? — Кроме того, он — для целей святых и небесных, — однакоже служит людям; за что же бы он лишился награды от людей? Пустынника, величайшего подвижника, награждать людям не за что, он заботится лишь об одном себе, цель всех его подвигов — личная польза. Священник должен заботиться о спасении сотен людей; и его ли заботы, его ли труды не должны люди поощрять наградами? Притом если уж награды введены, то почему же время получения их не ограничит, не определит законом, и не воспретит аукционную продажу их?

«Сельский иерей не делает ничего отличного». — Да разве уже не отличное дело, если он, скованный самыми тяжелыми нуждами, погруженный в самое отвратительно-вонючее болото жизни, не потеряется и не падет? Разве не подвиг, не величайший подвиг — остаться честным и чистым в чумной атмосфере — причетничества и люда православного?

Подвиг всякого пустынножителя бесконечно легче, чем подвиги, предлежащие священнику. У того два врага — дьявол и плоть, у священника, кроме этих врагов, миллионы других, о которых пустыжник знает разве по слуху. Пустыжник, после сорокалетних изумительных подвигов, страшно пал, когда на одну только ночь оставили вблизи его девицу, им же исцеленную; так — первое столкновение с лицом из действительного мира погубило старца, отжившего, казалось бы, для волнений и страстей.

В каком же положении должен быть священник, с утра до ночи сталкивающийся со всеми лицами действительного мира? В каком состоянии

должен быть его дух, когда на исповеди ему рассказываются такие вещи, от которых холод проникает в кости, волосы на голове поднимаются кверху, кровь останавливается в жилах? И если священник, среди всего этого, сохранит себя чистым, — это не отличное дело?

А страшные лишения, на которые осуждены он, его жена, его дети после бесконечных трудов, — если он переносит их благодушно и терпеливо, — все это, по-вашему, мудрые и благонамеренные пастыри, не подвиги, потому что вы не испытали их, не имеете ни малейшего понятия о них, — и вам ли судить о значении их?

О, бесконечно было бы лучше, если бы вместо академий, лишь надмевающих вас, заставили бы вас лет хоть по десяти пробывать сельскими священниками! Были бы вы и посмирнее, и подоступнее, и имели бы настоящее понятие о делах сельских иереев, кажущихся теперь вам ничтожными; да и дело свое разумели бы получше!

«Не делают ничего отличного». А вот этот архимандрит, украшенный двумя орденами, что сделал отличного? Разве то, что изобрел способ проживать десять тысяч в год на всем готовом, совершенно одинокий, и не уделяя деньги бедным и сирым? Разве то, что разорил свой монастырь, на который смотрит как на ферму? Разве то, что служит в неделю раз и ночи посвящает на интимные собеседования с барынями, запершись в своем кабинете?

Поистине, великие и важные заслуги, далеко превышающие тяжкую, страдальческую, мученическую деятельность священника! Какое сравнение!

Один живет сибаритом, для прихотливого вкуса его с трудом угождает лучший повар с изысканнейшими блюдами, с дорогими винами, для нежных его членов никакие подушки не мягки, никакие ковры не эластичны (и кто же это, кто? Сын пономаря, вскормленный на редьке и пустых щах, валявшийся в неисходной грязи), глаза его не могут смотреть ни на что, кроме серебра и бриллиантов, деятельность его ограничивается прочтением N. газеты, или книжкой журнала, а летом разнообразится прогулкой в карете в ближайшую рощу, или оплатой полуночных визитов барыням.

Другой — в самом кровавом поте лица приобретает себе хлеб, довольствуется в средствах жизни тем, что нужно для всякого крестьянина, несмотря на то, что должен удовлетворять бесконечным требованиям своих прихожан, часто весьма прихотливым и неразумным — в бурю, вьюгу, в полночь, при 25 мороза, на кляче, должен ездить в деревни верст за 5-10, нередко после целодневных, самых убийственных трудов.

Как же не награждать первого? Живет отлично! И за что награждать второго? Ничего отличного не делает! «Но чем же и утешить себя монаху, — ответил один архипастырь-знаменитость, когда спросили его, как он позволяет своему викарию ездить на орловских рысаках и пр. — как не хорошим столом, да не орловскими рысаками?» (Монаху!! Такие утешения!!)

Впрочем, такой ответ не удивителен из уст архипастыря, который позволяет своему наместнику еще и не такие утешения. Священник может развлечься семейством, а монах ведь не имеет ни жены, ни детей. Не имеет? Не имеют! А для священника чудное развлечение, что у него нет средств, ни возможности воспитать своих детей как бы ему хотелось; сделать из них людей, а не сельских попов и, от чего спаси Господи всякого, не монахов! Не даром же от такого развлечения так часто льются у него слезы, всей горечи которых не в состоянии понять все доктора богословия.

«Но этот архимандрит был в академии, а священник только окончил семинарский курс». Поистине бесконечная заслуга быть в академии, и даже сделаться магистром! Важное благодеяние для Православия — зубрить четыре года самодельные курсы философии и иных мудростей; делать компиляции, и даже просто переводы, под громким названием рассуждений, и по выходе из академии, успокоиться на лаврах при многих тысячах годового доходу! Чудная заслуга, достойная всех наград! «Был в академии».

Но еще какой особенной заслугой Церкви заплатил он за то, что истреблял казенный хлеб и таскал казенную одежду? — Так за это магистерский крест с пансионом — пансион на всю жизнь за четыре года зубрения, — да это такая роскошная награда, какой в целом свете ни один университет не дает! Чего же хотеть еще?

«Был в академии» — ну так доказывай словом, делом, писанием (и чего удобнее? Все средства для этого! Не то что у какого-нибудь священника, которому подчас и бумаги купить не на что), что ты действительно вкусил от академической мудрости, и — тогда Господь с тобой, получай ордена, хоть и тысячных бы доходов на это довольно; а то уметь и знать только подписывать: архимандрит и кавалер! — И какое образцовое безмыслие в этом, как и во всех учреждениях православного духовенства! Магистр, доктор университета может умереть с голоду, если не имеет родового имени, или не примется за тяжкую работу головой; какой-нибудь магистр академии, большею частью необразованнейшее существо в мире, сейчас же по окончании курса уже обеспечен пансионом на всю жизнь.

Профессор университета убийственным двадцатипятилетним трудом может обеспечить свою старость; монах лет через 5-10 по выходе из академии (большею частью и магистерство-то дается за поступление в монашество; а уж если и при этом не дано оно, то значит хорош был студент) получает ферму (монастырь) нередко с доходами, каких ни одному доктору и *Triusys juris*, или иначе чего, не видать в целую жизнь и предается всем наслаждениям жизни без малейшего опасения — подвергнуться за то чему-либо; потому что архиерей монах же в Синоде — монахи же, и всегда вытаскают из всякой беды своего единоплеменно-чернокожаго, раз уж он начудесит что-либо такое, чего никакой черной мантией не скроешь... О Русь, Русь, Русь! Только в тебе могут совершаться подобные чудеса!

«Но сельские иереи так дурно ведут себя, что не заслуживают наград». Согласны, если угодно, с этим. Однако же некоторые получают — какие же именно?

Да священники богатых сел или бездетные. В чем же особенные заслуги их перед бедняками и многосемейными? В том, что у них есть лишние деньги!

«Не заслуживают?!» Да получают-то именно те, которые менее всего заслуживают наград; а достойные не удостоиваются их, потому что не ищут и не платят.

Не будем повторять, от чего и от кого так много недостойных иереев по селам; введите хоть в наградах-то строгий и безукоризненно честный порядок, и это одно заставит многих беспорядочных иереев обратиться к жизни порядочной. Теперь каждый знает, что будь он предостойн, и в целую жизнь не получит ничего, если не купит; будь предостойн, и наверно, за исправный платеж, преисправно будет получать награды; и первый не рачит о себе, и второй не заботится об исправлении себя.

Награждайте же лишь достойных, без поборов и притязаний, тогда увидите, какая перемена последует в сельских иереях. Если не сознание долга, то хоть честолюбие заставит многих одуматься, и вести себя и действовать, как прилично иерею. Великое дело — поощрение справедливое и разумное! А вы, так безумно щедрые на наказания, не хотите воспользоваться и этим средством, как и никаким, к улучшению сельского духовенства, и после этого жалуетесь, что нет сил исправить его! И вы осмеливаетесь жаловаться, награждая какого-нибудь благочинного, отъявленнейшего негодяя, т.е. поощряя его и ему подобных, на все дурное!! — Боже мой и Господи!

А и случится каким-нибудь чудом, что дадут награду бедному, так она вместо наказания ему. Везде награды присылаются на место жительства награжденному. У нас непременно вызывают его к архиерею — зачем? За тем. Чтобы он расплатился с архиерейскою и консисторскою сволочью. И спаси Господи, если он заплатит мало — получив награду, он вытерпит такую бесстыдную площадную брань. Столько выслушает угроз, что готов бы проклянуть и самую награду. И угрозы — не пустые слова — при первом случае приводятся в исполнение, из-за сущих пустяков он терпит жесточайшее оскорбление и даже наказание, чего никогда не случалось бы, если бы не постигло его несчастье побывать в консистории для получения награды.

Заключение

Но довольно! Нужно быть бесконечным, чтоб описать всё.

И это писали с невыносимою болью сердца. Не раз перо выпадало из рук наших, когда дело шло о том, что есть, хотя по возможности мы везде старались смягчить горькую истину. Даже мы приступали к этому делу после страшной двухлетней борьбы с самими собой. С одной стороны: всегда всю душу нашу возмущало положение (и какого ж истинного христианина не возмутит оно?), до которого дошло духовенство, особенно низшее; что может быть ниже, позорнее этого положения? Везде, от великолепнейших гостиных до курных изб, клеймят его злейшими насмешками, словами глубочайшего презрения, неодолимого отвращения; самые снисходительные отзываются о нем с состраданием или молчат. Ужасное положение! С мыслью о таком положении у нас всегда было наразлучно сильнейшее желание, чтобы духовенство, так или иначе, вырвалось из него; поняло ту чудно высокую цель, для которой учреждено оно на земле; стремилось к достижению этой цели по мере сил и возможности; словом, сделалось тем, чем должно быть. И это желание заставляло нас описать если не всё, то большую часть зла в духовенстве; указать на причины его, указать и на средства, какими, по крайнему нашему разумению и убеждению, можно до некоторой степени истребить его.

С другой, — нас всегда останавливала боязнь: поймут ли, т. е. захотят ли понять цель нашей записки? Не раздражит ли она тех, которые с сознанием или без сознания довели духовенство низшее до этого положения? А вследствие этого вместо пользы не принесет ли она еще вред для него? Не обрушится ли на него мщение жестокое, неумолимое, которое совсем задавит его?

Но нет, сказали мы наконец себе, — добро еще не умерло на земле; люди добра, в высшем значении этого слова, есть в мире, иначе мир погиб бы... Нет сомнения, что те, которые узнают себя в представленных нами чертах, назовут наши слова хулой, нелепостью, злонамеренным памфлетом [...], если наша записка попадет в их руки. Но может она попадет в руки людей добра (неужели Господь, видящий, каким всепожирающим огнем горит вся душа наша к Церкви Православной, ко всему, что может служить для ее блага, для ее славы, попустит, чтобы записка наша попала в руки первых?), о, тогда и наша записка принесет хоть зерно добра! Без предубеждения, без озлобления прочтут они нашу записку; беспристрастно сделают поверку всему, высказанному нами, если сами не видели и не слышали того ж, что впрочем невероятно; и не опустят, а, может быть, даже поищут случай быть полезными для низшего духовенства...

Коренное преобразование для всего духовенства необходимо. Надеемся, что с этим согласится всякий, кто будет иметь терпение прочесть записку нашу. Но оно может совершиться лишь могучей рукой! Державного. Заслуживает ли духовенство того, чтоб подвинуть к действию эту руку? Т. е. настолько оно полезно и нужно государству, чтобы единый Державный соблаговолил обратить на это внимание? Вот вопрос!!! От решения его зависит вся будущая судьба духовенства, т.е. возникнуть ли ему к жизни новой светлой и благотворной или догнивать в тлетворном болоте...

Мы не осмеливаемся дать полный ответ на этот вопрос, а дерзнем высказать одну только мысль.

Одно из двух: духовенство нужно или нет в государстве. — Не нужно? Пусть уничтожат его, и чем скорее, тем лучше. В обществе, как в организме человека, всё ненужное вредно; следовательно, чтобы организм был здоров, а общество устроено на прочных основаниях и вполне благоденствовало, всё вредное должно быть изгнано, уничтожено. — Нужно? Так пусть определяют меру и степень его нужды, затем ясно, точно, положительно определяют условия его существования, избавят его во всем от произвола человеческого, дадут ему средства и возможность достигать той цели, с какою оно допущено в государстве. После всего этого уже пусть строго требуют, чтобы оно ни на шаг не уклонялось от своей цели. Но сделать всё это нужно немедленно. Зло не то, что добро: быстро растет оно и развивается. Мы видели, до каких страшных размеров дошло оно в духовенстве. Ждать ли же, когда оно своей смертоносной атмосферой заразит всё и всех? В физических болезнях нередко час определяет — ожить или погибнуть больному. Нечто

подобное бывает и в нравственных. И в них как будто есть кризис: не поспеет благодетельная рука вовремя, — всё поггло; никакие усилия, ничьи силы не воззовут к жизни погибших нравственно, — будет ли то единица, или будут тысячи единиц, т.е. целое сословие, или миллионы единиц — т. е. целое государство.

Считаем нужным еще раз объяснить, что мы, описывая сельское духовенство, имели в виду лишь большинство иереев, а отнюдь не всех. Найдутся иереи вполне достойные звания своего, которых никакой стороной не касается описание наше; найдутся такие, которых описание наше касается лишь некоторыми сторонами; и, к несчастью, найдутся и такие, которые хуже нашего и ниже всякого описания. Выразим эти четыре разряда цифрами. Разумеется, приблизительно. Из ста таких, как мы описали, — 70, лучших 5, средних 20, худших 5.

...Поле полно костей человеческих... и се сухи зело.

Дерзнем вопрошить Тебя, Господи! Оживут ли кости сия?

Дождемся ли мы этой светлой, чудной радости, что устами Христа своего Ты изречеши костем сим: се аз введу в вас дух животен... и дам дух мой в вас, и оживете, и цвесте, яко аз есмь Господь?

О, веруем, несомненно веруем, что это будет! Проречет Помазанник Божий на мертвых сия, и — внидет дух жизни, и оживут, и станут на ногах своих, — собор мног зело...

И собор мног зело, возванный к жизни, посвятит всю ее на пламенейшие моления за своего животворца — Помазанника Божия и за все его дарственное семейство и за его державу.

И собор мног зело там — в стране вечной жизни, пред престолом Царя Царствующих, крепким гласом воскликнет имя того Царя земли Русской, который совершил то, чего не было сделано со времен Равноапостольного Князя Владимира, — извел из тьмы и сени смертной тех, которые других должны вести к пренебесному свету...

Дополнения

Иереи уездных городов

Положение иереев в уездных городах, за весьма редкими исключениями, еще хуже положения сельских иереев. Купец, мещанин — тот же крестьянин по степени разумения и понимания вещей, но с требованиями нелепейшими

и бесстыднейшими, чем сами бары — уездные аристократы. Крестьянин забывается перед священником — купец всегда видит в нем нечто среднее между работником своим и нищим — так и обращается.

С одной стороны — он бессовестно-нагло требует от него всяких послуг, весьма нередко противозаконных, с другой — с негодованием и презрением кидает, или даже высылает с работником какую-нибудь мелочь. Поэтому иерей в городе больше задавлен и убит, чем иерей в деревне. Правда, он не ломит работ, но всякий согласится, что легче ломить какую угодно работу, чем ухаживать за каждым мещанином, подьячим, пресмыкаться перед купцами. Живет он почище (это-то, вероятно, и заставило думать мудрых и внимательных архипастырей наших, что иереи уездных городов все богачи — богачи! — посмотрели бы на это богатство, по милости которого весьма нередко у городского иерея нет возможности купить зараз два-три пуда муки ржаной), но нужд и лишений терпит еще больше, потому что жизнь в городе дороже.

Но в нравственном отношении он стоит много выше сельского иерея. Необходимость почти каждодневной службы заставляет его быть трезвым. Желание хоть чем-нибудь действовать на прихожан заставляет его нередко говорить проповеди. А для этого большую часть времени он отдает чтению и размышлению. Вообще городской иерей, преданный грубым порокам, явление не частое.

Что до отношений его к архиерею, консистории и т.п., то они совершенно те же, что и сельского иерея.

Необходимость поставить городского иерея в положение возможно независимое от бесстыдного и невыносимого деспотизма прихожан, обеспечить его хотя в главных потребностях жизни из-за фунта свеч, — чтобы он не стоял по целому часу с открытой головой перед прихожанином из-за пуда муки, особенно, если, к несчастью, он имеет большое семейство, — еще важнее, еще настоятельнее, чем даже для сельских иереев.

Торговля и промыслы решительно во всех городах быстро падают. Капиталисты-миллионеры у нас предание, которому и верится с трудом. От этого и те средства, которыми пользовались иереи прежде, средства, добываемые с таким трудом и унижением, уменьшаются с каждым годом. А наглость и бесстыдство прихожан растут соразмерно с обеднением иерея. «Не дам тебе, так издохнешь с голоду, как собака», — весьма нередко говорит какой-нибудь купец, требуя от своего иерея чего-либо совершенно неисполнимого для иерея честного (например, обвенчать в родстве, или

несовершеннолетних и т.п.). И что ж? Перспектива умереть с голоду, неизбежная на деле, потому что у городского иерея, кроме доходов, иных средств жизни решительно нет никаких, заставляет его делать подлость, до которой он никогда не дошел бы, если б имел хоть самое нужное для жизни верное, независимое от этих вандалов.

О нищета, нищета! Скольких иереев достойнейших сгубила ты!

Непонятно одно: почему в проекте об улучшении быта духовенства, забыты именно те, которым скорее всего необходимо это, — полунищие, готовые дойти до совершенной нищеты — иереи уездных городов?

Еще несколько слов о семинарском образовании

Семинарское учение, отвращая умы молодежи от всех основательных и полезных сведений, сообщая им лишь наружное, поверхностное полужнание предметов решительно не нужных для жизни действительной, внушает желанья, нисколько не сообразные с тем положением в обществе, в которое должны вступать они по выходе из семинарии, и ведет таким образом, чрез длинный ряд несбывающихся мечтаний, души пылкие к отчаянию, души низкие к грубейшим порокам, души обыкновенные к подлостям искания и пресмыкательства.

Те ж, у кого больше твердости, и не поддаются ни под одну из этих жалких категорий — те продолжительными и тяжкими уроками действительной жизни должны искупать обольщения, порожденные в них блестящими и пустейшими занятиями, составляющими так называемое семинарское образование. Без малейшего преувеличения можно сказать, что студенту, кончившему курс в семинарии, много лет нужно разучиваться всем ложным понятиям, стряхнуть с себя нелепейшие предрассудки и отказаться от смешных притязаний, которым научился в семинарии у своих наставников, старавшихся не столько сделать из него человека, сколько, в угоду своей профессорской суетности, приучить к наружному блеску и безобразнейшему тщеславию.

Такая система образования была понятна в XVII веке, когда от образования требовали только наружного блеска — средства чем-нибудь отличиться от толпы. Цель эта тогда вполне достигалась. Ученик семинарии в продолжении 10-15 лет добившейся умения составлять на языке Горация и Виргилия нелепейшие вирши, рассуждать на языке Цицерона *de omni re scibili*, не зная надлежащим образом ни одной, *et quibusdam aliis*, считался чудом образованности, схватившим всю мудрость человеческую и проглотившим

все науки... Но оставить без всякого изменения с XVII века до настоящего времени такое образование, — это или величайшее безумие, или крайняя злонамеренность тех, которые заправляют у нас этим великим делом.

Как, казалось бы, не видеть, что в настоящее время от науки требуется не блеск, а дело, от знания — не цветы, а плоды? Как не понимать, когда все поняли, сознали, кричат во всеуслышание, что образованность та истинная, настоящая, та должна быть допущена в цивилизованном обществе, которая может быть приложена к жизни, которая приготавливает человека — жить не за счет других, быть не бременем для общества, а в самом себе находить силы и средства — удовлетворять всем потребностям жизни? Силы для этого всем даны Господом. Вот их-то развить, направить к добру — вот образованность истинная!

Жалованье иереем

Всякий, кто будет иметь терпение прочесть нашу записку, согласится, уверены мы, что духовенству жалованье необходимо, до того необходимо, что без него оно никогда, никакими средствами и усилиями не будет в возможности — соответствовать цели назначения своего. Но какое жалованье положить иереем уездных городов и сел? Чем ограничить его, чтобы оно не было ни слишком велико, ни слишком мало; не вовлекало его в те крайности, в которые вовлекает излишество, и не заставило по-прежнему прилегать к доходам, достойным всех проклятий всех благомыслящих людей? — Посмотрим сначала, как это делается в иных землях.

Католическое духовенство во Франции в настоящее время получает различное жалованье, смотря по месту служения и по степени, которую известное лицо занимает в иерархии; простые священники в больших городах получают от казны 385 р. серебром в год, другие по 300 р. серебром, а деревенские по 212 р. серебром; последним община прибавляет еще от 25 до 38 р. серебром за разные требы. Таким образом, положение низшего духовенства во Франции не блистательно.

И однако ж у них нет семейств, им нет нужды воспитывать сыновей, отдавать замуж дочерей, помещение у них казенное, консистории их не грабят, благочинные — тоже и проч. Каково же должно быть положение нашего низшего духовенства?

Правда, у нас предположено обеспечить их жалованьем, и в некоторых губерниях уже получается. В одной из таких губерний мы были в недавнее время и — осмелимся высказать правду — не заметили, чтобы оно изменило

отношения между священником и прихожанином: те же ненавистные поборы, что были и прежде, то же духовное разъединение между пастырями и пасомыми, что было и всегда. Какая же причина того, что и самое обеспечение духовенства не достигает своей цели?

Жалованье сельскому духовенству назначается, сообразно с числом душ прихода, 100-200 р. Что сказать о таком назначении? Прежде всего то, что оно непременно должно быть составлено монахами.

Только в них, целиком проглотивших всю человеческую мудрость, может быть такое полное отсутствие здравого смысла, такое решительное непонимание потребностей житейских, такое глубокое невежество в знании хозяйственной географии обширной Руси, только в них и ни в ком больше. Всякий крестьянин, мало-мальски толковый, в миллион раз умнее и сообразнее с целью устроил бы это дело. А вместе с тем, в этом, как и во всем, в полном свете обнаружилась та нелепая самонадеянность, то бессмысленное тщеславие, которые никак не позволяют обратиться за советом к тем, кого это дело прямо касается и по которым все свои решения они считают непогрешимыми.

Кто, с одним простым здравым смыслом, не скажет, что при назначении жалованья иерею, чиновнику, кому угодно, прежде всего нужно сообразовываться с местным положением их? Одно ли значение имеют одни и те же сто рублей: в губерниях внутренних, восточных, в Украине, в Белоруссии, в Сибири? В одном месте, при чрезвычайной дешевизне жизненных потребностей, на них можно жить в достатке; в другом — что значат эти сто рублей, например, в Тверской, Владимирской и еще более в Смоленской губерниях?

Распределить жалованье по числу душ прихода, по-видимому, тут есть здравый смысл; кому больше труда — тому больше и жалованья. А в сущности дела и тут мало справедливости. Трудиться каждый должен. «На труд рожден человек», — сказал праведный Иов. А если кого больше касается это изречение, так священника. Прямое его назначение — труд. Следовательно, велик ли, мал ли приход, — дело не в том. Там и здесь священник должен отдавать все свое время прихожанам. В малом приходе количество труда должно вознаграждаться качеством. Этим уравнивается дело всех иереев. И жалованье назначается не как награда за труд, а как обеспечение, которое избавило бы его от необходимости прибегать для приискивания средств жизни — к средствам позорным для его служения. Кто больше трудится с видимой пользой, для того должны быть иные награды, а

не кусок хлеба. Иначе, священник будет ни больше ни меньше — поденщик и худшим из поденщиков — работающим из хлеба. Нет — жалованье должно быть назначено сообразно с семейством: бездетному одно, малосемейному другое, многосемейному иное. Все это будет сообразно со здравым смыслом, с рассудком, словом — с чем угодно, т.е. будет справедливо.

Но возможно ли сделать это? Значит для каждого семейства должно быть особенное жалованье? Вовсе не так трудно, как кажется. В ноябре каждого года благочинный представит ведомость консистории о наличном числе иереев и семейств их. Консистория, по таксе, однажды составленной, высылает ему для раздачи всю сумму — вот и все дело!

Скажут: поэтому за каждый год нужно особенное назначение от Правительства сумм на каждую губернию? — Нисколько. Число штатных иереев определено уже; следовательно, оно всегда останется неизменным. Число детей их — в один год больше, в другой меньше; следовательно, общий расчет должен быть, как и везде делается, по десятилетней сложности. А тем, которые и после сказанного нами будут считать это дело невозможным, мы укажем на примере пайков солдатских — выдают же их отставным солдатам, их женам и детям, и порядком идет дело; да там еще и труднее, потому что предметы выдачи разнообразны; почему же бы это было невозможно у нас, когда будут выдаваться одни деньги?

От этой меры, справедливой как нельзя более, было бы много последствий и самых благотворных. Между иереями уничтожится зависть, так постыдно разъединяющая их теперь. Все они, по возможности, будут уравнены, и завидовать будет нечего. Теперь священники весьма нередко мечутся с одного места на другое, иные от крайней необходимости, другие просто от прихоти. Тогда не будет им ни повода, ни нужды, бегать из одного места в другое, и везде быть бесполезными; потому что они не успевают узнать ни нужд своих приходов, ни средств удовлетворений их. Тогда и самое начальство избавится от излишних дел по случаю перемещения их и пр. и пр.

Монахи положили, что священнику, каково бы ни было его семейство, довольно 100-200 р. Из этого видно, что, кроме всего, они еще были и дети злые и неблагодарные, объедали и изнуряли своих родителей, ни разу не подумав, не сообразив, что стоит каждый из них училищный и семинарский курс, ни разу совестливым, благонамеренным, сыновним взглядом не проникнув во все нужды, во все лишения, среди которых живут их родители. Нет сомнения, что, отправляясь каждый раз в семинарии, они заботились лишь о том, чтобы вытянуть из родителей как можно больше; а о том, как и

чем будут жить начисто обобранные родители, они ни разу не подумали. Именно так было — хоть допросить совесть каждого из них о прошедшем. Иначе они не дерзнули бы, посовестились бы сказать и определить, что многосемейному иерею довольно в год 100-200 р. Представим их высокоумию расчет жизни такого священника.

Возьмем семейство, по числу лиц его составляющих среднее, именно: священника с женой, три сына и три дочери — итого 8 человек. При таком семействе необходима работница, всего 9 человек. Предметы расходов означим самые необходимые, потребление и ценность вещей потребляемых возьмем — minimum:

1. Муки ржаной 60 пудов.....27 руб
2. Муки пшеничной 2 сорта 15 пудов.....18 руб
3. Круп, соли, солоду и т.п.....20 руб
4. Говядины, масла, яиц и т.п.....15 руб
5. Свеч, масла деревянного, мыла и т.п.....15 руб
6. Дров 15 саж. По 2.50 за сажень.....37 руб. 50 коп.
7. Ремонт, стройки, печей, посуды, мебели и т.п.....25 руб
8. Для священника: 1 ряса, 1 подрясник, 2 сапог, перчатки, шляпа и проч.....30 руб
9. Для жены: 1 салоп, 2 платья, 2 башм., платков и пр.....30 руб
10. Трем дочерям на одежду и обувь.....60 руб
11. Работнице жалованья.....15 руб
12. Ей же на одежду, обувь и пр.....10 руб
13. Покупка и содержание коровы.....25 руб
14. Прибавим расходы мелочные не предвидимые, которых нельзя означить с точностью: на лекарство, бумагу, нищим, погребщикам, пролубщикам и пр. Все это, каждое в отдельности — безделица, в итоге, по меньшей мере.....20 руб
15. Прибавим на чай, сахар, водку, не для каждодневного употребления, а на случай болезни кого-либо, на случай, если священник придет промокший, продрогший и ради гостя.....10 руб

Итого — 397 руб. 50 коп.

На сыновей. Двое в семинарии.

1. За квартиру, стол по 4 р. в месяц с каждого, в 10 учебных месяцев...80 руб
2. Сюртук, шинель, обувь и пр. 40 р. на каждого, обоим.....80 руб
3. На проезды в год.....25 руб
4. На расходы мелочные: книги, бумагу, перья и пр.....8 руб

В училище для сына:

1. За 10 учебных месяцев, за квартиру, стол и проч.....20 руб
2. Сюртук, тулуп, сапоги, брюки, картуз и пр.....15 руб
3. На проезды в год.....10 руб
4. На книги, бумагу, карандаши и пр. (о разбойничьих подарках мы уже не говорим).....4 руб
5. Прибавим для всех расходы непредвидимые, на случай болезни..8 руб

Итого — 350 руб. 50 коп.

Всего в год для всего семейства необходимо: 647 руб. 50 коп.

Какой же мудрейший и опытнейший хозяин сведет приход с расходом: жалованьем в 100, 150, 200 рублей покроет все нужды?

Питомые, яко овцы на заклание, некоторые статьи расходов могут назвать совершенно излишними — роскошью, какой никак нельзя допустить в быту священника. Согласны. Священник — не монах; может обойтись без щей, каши, пирога в праздничный день и прочей тому подобной роскоши, и уничтожаем 2, 3, 4 статьи (- 58 р). Священник — не монах, которому нужно 5-10 комнат, может с семейством жить в одной избе. Согласны. Уменьшаем число дров на 10 сажень. (- 12 р.50 к.) Уничтожим еще 13 и 15 статьи, отзывающиеся роскошью жизни (- 35 р.) Уничтожим — но, кажется, уничтожать больше нечего, осталось лишь то, чем и работник у крестьянина довольствоваться не будет. Сколько же остается годового дохода? 547 рублей. Отнимем у сыновей 100 рублей, и они не дети монахов, могут быть заранее полунищими; остается 447 рублей. Как тут быть священнику с жалованьем своим? Куда его потянуть и растянуть? Поневоле, и при жалованье, обратится к поборам, если бы даже и сознавал всю мерзость их.

Таким образом, жалованье, далеко несоразмерное с нуждами, никогда и никак не уничтожит поборов. После этого к чему же оно? Какая польза в этих полумерах?

Вот, по самой строгой справедливости, сколько должно быть назначено (minimum) жалованья для удовлетворения существеннейших потребностей жизни иереям и их семействам во внутренних губерниях.

Священнику 100 р., жене его 80 руб. Надеемся, что эти цифры не покажутся слишком великими, когда скажем, что здесь хороший работник берет в год не меньше 60 р. на всем готовом. И мы назначаем священнику больше работника каких-нибудь 20-25 руб. Кажется, не много.

Сыновьям по 50 руб., дочерям по 30 руб. год со дня рождения. Конечно, пока они дети, на них не выйдет столько. Но сыновьям в училище только что будет достаточно; в семинарии же потребуется вдвое и более; так во время детства и будет скапливаться необходимая, для пополнения последующих дефицитов, сумма. Точно так же в детство дочерей будет скапливаться сумма, необходимая для выдачи их в замужество.

Но где взять столько сумм?

Когда захотят устроить это дело, так и суммы найдутся. А если Правительству не угодно будет увеличить суммы, уже назначенные и определенные, то почему же не ввести и у нас того же, что делается во Франции, т.е. чтобы недостающее доплачивали сами приходы (раз в год, а отнюдь не в виде воздаяния за исповедь, причастие и пр.). И у нас еще удобнее это сделать, чем где-либо. Пусть крестьянам отдадут земли, которыми теперь пользуются иереи, и они за то платят, — чтобы еще было легче, хоть даже натурой, например, по 10 четвертей того и другого хлеба, по 100 пудов сена, соломы и проч.

Необходимое объяснение

В записке своей везде, где только дело касалось монахов, мы отзывались несколько жестко. Поэтому имеем основания опасаться, что нас строго осудят за неуважение к монашеству.

На нас даже может обрушиться мщение более существенное, — несмотря на то, что мы дерзнули и то не во всеуслышание, а доверили их лишь бумаге, которую едва ли еще и прочтет кто. Вот почему мы сочли нужным сделать небольшое объяснение.

Выражаясь жестко о монахах, мы имели в виду лишь некоторых, а отнюдь не всех, — тем менее само монашество. Боже спаси и помилуй! Глубоко, душой и сердцем, чтим мы монашество; может быть даже более, чем большая часть из тех, которые украшаются этим именем. Чтим также и монахов истинных; благоговеем перед именами Серафима и других подвижников Саровской пустыни; благословляем Господа, читая письма Святогорца, Уманца и других, что и в наши дни не оскудевают праведники (...).

Но монах — без призвания, а по целям чисто человеческим; но монах — лишь только по имени и по платью и нисколько по жизни; архимандрит, добивающийся во что бы то ни стало, архиерейства, а архиерей — орденов и лучших епархий; но монах, кто бы он ни был, старающийся выказывать в себе вельможу-аристократа, но монах, под благовидным предлогом управления Церковью, присвоивший себе и всеми силами удерживающий ни на чем не основанное право — вмешиваться во все дела белого духовенства и проч. и проч. — о, да простит Отец Небесный! — о таком монахе мы не в силах говорить хладнокровно...